

**Николай Наседкин**



**Рано иль поздно**

16+

# **Николай Николаевич Наседкин**

## **Рано иль поздно**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48620917](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48620917)*

*SelfPub; 2019*

### **Аннотация**

Данный сборник автора романов «Алкаш», «Люпофь», «Гуд бай, май...», «Меня любит Джулия Робертс» и других книг составили повести и рассказы, ранее опубликованные в журналах «Москва», «Российский колокол», «Южная звезда» и др. Произведения сборника разнообразны по жанрам и темам, но их объединяет одно – написано увлекательно.

# Содержание

ЛУЧИК СОЛНЦА В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ	4
НОВЫЙ РОДСТВЕННИК	11
НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ	24
ФЕВРАЛЬ	67
СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ	76
ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПИТ	93
Конец ознакомительного фрагмента.	110

# ЛУЧИК СОЛНЦА В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

## *Рассказ*

Я не сразу понимаю, почему моё внимание привлёк отрывной календарь, почему я уже с минуту читаю – 13 октября – и мучительно думаю, что это за число, что с ним связано. Такие провалы в памяти последнее время беспокоят меня. Я каждый раз пугаюсь, сам себя обманываю: дескать, мне и не надо вспоминать, и совсем мне это не нужно вспоминать, но тем сильнее напрягается голова – до боли, до покалывания в глазах. Пытается вспомнить и не может. Это – старость.

А сейчас я вспоминаю: 13 октября? Так ведь сегодня ровно год, как я на пенсии!

Я опускаюсь в кресло, вдруг почувствовав усталость, рассматриваю свои руки: костяшки пальцев обтянуты синеватой кожей; смотрю на ноги в домашних брюках из пижамной материи и стоптанных шлёпанцах; провожу по остаткам волос на голове: я знаю, они – седы... Неужели это я? Ох-хо-хох!

У меня нет привычки разговаривать с самим собой (правда, я беседовал частенько с котом, но он уже неделя, как пропал куда-то), поэтому я только вздыхаю и начинаю суетиться. Подумалось, что надо как-нибудь отметить это событие – всё-таки годовщина. Непременно нужно выделить этот день

из вереницы мокрых осенних дней.

Я встаю, кладу на кресло тряпку, которой вытирал пыль с полок, спохватываюсь, вытираю пыль до конца, включая приёмник (вообще-то, я любитель тишины), открываю холодильник: есть ли там хоть пиво? Ищу консервный нож, протираю фужер...

Но что это? Я понимаю, что мне не хочется делать то, что я делаю. Мне не хочется... Я бы лучше полежал. Действительно, какой же праздник одному?

Я выключаю газ и, не убрав со стола (опять Вера будет ворчать), иду в свою комнату и ложусь на диван. Мне плохо. Нет, вроде нигде не болит, не ломит, – просто мне плохо. Одиноко. С тех пор, как уехали *они*. Они – это: Александра, моя дочь, её муж и внучек Игорёк.

– На пенсию папа выйдешь, так к нам и приезжай... Потом письмо прислали: «Квартиру пока нам дали двухкомнатную. Теснота. Ты, папулечка, повремени, расширимся и вызовем тебя...»

Да-а-а... Теперь вот Игорюшка один почти и пишет. Где же письмецо-то последнее? Я с трудом встаю, шарю за книгами и достаю конверт-авиа.

*«Здрастуй дедушка!!! Я обязательно приеду летом, как только каникулы начнутся! Или лучше дедуля ты приезжай сюда у тебя же время много. Я очинь на тебе саскучился патому что люблю тебя милый дидуля! Мы будим ходить стобой в тиатр и ты мне поможеш по рускому язы-*

*ку а то двойку опят севодня палучил. У нас очинь хорошо и мама с папой привет тебе сказали написать! Только не болей дидуля а лутшие приезжай!*

*Досвиданья дедушка!*

*Твой внук Игор Востриков ученик 3 “а” класса».*

Ну вот, опять слеза капнула, слабый какой я стал. Я выключаю приёмник и долго лежу, почти ни о чём не думая. Так, отрывки какие-то мелькают в голове: из молодости, жена неожиданно вспомнилась, Александра маленькой...

В комнате уже полумрак. За стеклом монотонно шуршит дождь и тренькает по карнизу. Нудная осенняя погода уже третий день. В такие вечера особенно тяжело, острее чувствуется одиночество. Кажется, я один не только в комнате, но и во всём доме, во всём городе... А вдруг мне станет плохо? Вдруг я начну умирать?..

Меня пугают эти мысли, я стараюсь их отогнать, успокоиться и сам перед собой делаю вид, что засыпаю.

Мою полудрёму нарушил осторожный стук в дверь. Я хочу соскочить с дивана, спрыгнуть навстречу моему спасителю, кто бы он ни был, но получается не так быстро.

Наконец, я нашариваю тапки (стук ни на минуту не прерывается), включаю свет и отпираю дверь.

На пороге стоит молодая особа неполных трёх лет – моя соседка Ирочка и выжидающе смотрит на меня. (Веру Петровну с Ирочкой подселили ко мне полгода назад, и, как ни странно, с дочкой я быстрее нашёл общий язык, чем с мате-

рю.) Ирочка смотрит на выражение моего лица и, верно решив, что я не буду препятствовать её вторжению, она, что-то лопоча, отталкивает меня в колено и устремляется в комнату.

Ирочка – презабавнейшее существо. Она в таком возрасте, что уже всё почти понимает, а язык ещё – увы. У меня всё ещё колотится сердце, я улыбаюсь.

– Ирочка, ноги вытирать! – и я показываю ей на половичок.

Ирочка с обиженным выражением на мордашке возвращается (ведь не дал дед до зеркала дойти!), лепечет: «Огитирать!..» – и исполняет на половике что-то подобие современного танца, причём только правым сапожком.

– Вот-вот, теперь зайди и дверь закрой.

Она налегает на дверь обеими руками, всей тяжестью своего тельца и, не рассчитав силы, плюхается на пол. Я нарочно молчу. Минуту-две Ирочка лежит неподвижно, решая отнюдь не праздный вопрос: заплакать или подождать? Мамы близко нет? Дед вообще, может, внимания не обращает... Нет, не стоит!..

Потом я учу её разговаривать.

– Ирочка, вот это тётя, – показываю я картинку.

– Тётя! – бойко отвечает ученица.

– А вот это – спички.

– Пички!

– Фотоаппарат.

– Лёполёпат!

– Нет, Ира, фото-ап-па-рат...

– Лё-по-лят!

Ладно, «лёполят» спрячем, чтоб не мучиться. Я сажусь на диван и прошу гостью:

– Иринка, принеси-ка мне сигарету и спички.

Ирочка подходит к столу, цепляется за край, встаёт на цыпочки, и глаза её оказываются как раз вровень с крышкой. Долго она рассматривает, что на столе лежит, и приносит мне авторучку и спички. Стало быть, спички мы уже запомнили хорошо.

– Ну что, Ирочка, в прятки хочешь играть?

– Хоцю! – кивает она кудряшками.

– Тогда выйди, а я спрячусь и потом позову тебя, хорошо?

– Лёшо!

Я вывожу Иру из комнаты и, укрывшись за шторой, кричу её. В эти минуты я забываю, что мне – 66, что я седой одинокий старик. Сейчас я чувствую себя чуть постарше Ирочки, может, годка на три, не больше.

Ира забегает и сразу устремляется к столу – запомнила, что дед в прошлый раз там прятался. Мне видно, как она заглядывает под стол. Заходит с другой стороны и снова сгибается. Встаёт на четвереньки и ползёт вокруг стола, пока не упирается в стенку головой.

– Нетю! Нетю?! – недоуменно шепчет она.

– Ира, ау!



Она отдёргивает штору и заливается счастливым смехом.  
– Вот! Вот!!

Я смеюсь ещё громче – с дребезжанием, с присвистом, пока не закашливаюсь. Ирочка ждёт.

– Ну-ка, Ирочка, ещё разок.

Она выходит, а я прячусь за дверью и кричу её. Пока Ира бежит и бежит к шторе, я успеваю выскочить в коридор и в щёлку наблюдаю. Тщательно обследованы пространства под столом, под кроватью, за занавесью...

– Нетю деда! Деда нетю!?! – всё громче и громче сообщает она и бежит с этой вестью к матери (я успеваю проскользнуть на кухню).

Мне слышно, как Вера Петровна отмахивается от Иры, как она ворчит: «Вот разыгрались! Скоро спать, Ира!» Но Ирочка поглощена поисками. Она бежит обратно в мою комнату и видит меня, спокойно лежащим на диване. Она широко открывает глазёнки, беззвучно шевелит губками и, наконец, на весь дом кричит:

– Вот деда! Вот!!

Мы играем, играем, играем, забыв про время. Я страшусь минуты, когда девочка уйдёт.

Нас замораживает голос Веры Петровны:

– Алексей Захарович, сколько раз вам говорить, что перед сном ребёнку дурить вредно! Она же кричит потом по ночам! Хм, не понимаю, вроде старый человек!.. Ира, домой!

Я виновато молчу. Личико Ирины сморщивается, она со-

противляется, плачет, с взвизгиваниями, с переливами, с потоком слёз, топает ножкой, но мать насильно тащит её из комнаты, напоследок бросив мне:

– Вот видите, до чего довели!

Вера Петровна меня ненавидит. Она собирается снова выйти замуж и ей нужна моя комната. Я понимаю её и не осуждаю: ей – жить. Меня просто удивляет эта ненависть к чужому, в сущности, человеку. Мне грустно от этого.

Я постилаю на диване, ложусь и, как всегда, долго не могу уснуть. Дождь не перестаёт. Я вслушиваюсь в его бормотание, шелест, вглядываюсь в темноту и думаю. Опять о жене, *той* семье... Думаю о Вере Петровне, и мне её жаль... Я вспоминаю Ирочку, её ужимки, лепет, солнечные её кудряшки, улыбаюсь и неожиданно думаю:

«Почему у меня всего одна дочь?.. Почему всего один внук?.. Зачем они далеко?..»

А если б Ирочка была моей внучкой? Я долго, во всех подробностях представляю себе, как бы росла она у меня на глазах... Я бы помогал ей по русскому языку, когда она пойдёт в школу... Впрочем нет, она будет у меня отличницей!.. А на выпускной вечер мы сошьём ей розовое платье...

Дождь за окном постепенно смолкает. Может, я уже уснул?

# НОВЫЙ РОДСТВЕННИК

## *Рассказ*

Дверь им открыл невысокий плотный мужчина, как можно было догадаться, – сам Юрий Николаевич Плетнёв. Его мясистые пунцовые губы были раздвинуты в сиропной улыбке. Нос и щёки, и даже лысину он имел также мясистые, гладкие, с глянцем.

– Проходите, проходите, гости дорогие, давненько уж ждём с нетерпением...

Павел Афанасьевич Леснов, пропустив вперёд Оксану, с трудом перешагнул порожек, встал, прислонившись плечом к боковине массивной вешалки и тяжело опираясь обеими руками на трость. Лифт в доме отдыхал, и восхождение на пятый этаж не прошло даром. Боль в левой ноге, там, где давил протез, становилась уже невыносимой. Казалось, под зашитой кожей лопаются маленькие шарики, из которых выплёскивается расплавленный металл. Скорей бы сесть, вытянуть ногу и сразу станет легче – проверено опытом.

Встречать их в прихожую вышла вся семья Плетнёвых. Виктор, жених, уже полнеющий блондинистый молодец двадцати восьми лет, суетливо, с шуточками-прибауточками помогал раздеваться Оксане. Хозяйка дома, маленькая худая женщина с испуганным взглядом, своей сухой детской ладо-

шкой зачем-то пыталась обтрясти снег с каракуля и суконных плеч Павла Афанасьевича, – тому от такого чрезмерного внимания было неуютно.

Наконец перездоровались, перезнакомились, разделись, прошли из мрачной тесной прихожей в большую комнату с ковровыми стенами и полом, массивными гардинами на окнах, маленькой искусственной ёлкой в углу, от которой накапывал терпкий дезодорантовый запах хвои. В центре комнаты сверкал роскошью хрусталя и фарфора круглый какой-то антикварный стол на одной резной ноге. Праздник, судя по всему, обещал быть на дипломатическом уровне.

А вообще-то это были смотрины, знакомины, сватовство или чёрт его знает, как это ещё можно было назвать. Павел Афанасьевич уже давненько, примерно с год назад, стал замечать, что его Оксаночка, видимо, полюбила. Начались телефонные звонки, поздние возвращения, обнаружилась лёгкая мечтательная дымка в больших серых глазах единственной и ненаглядной дочери, появились какие-то намёки в разговорах. Потом в дом заявился в первый раз, а затем стал и частым гостем вот этот блондинистый Витя. Что его красавица Оксана нашла в этом парне – Павел Афанасьевич, хоть убейте, понять не мог, но не в его правилах было перечить дочке. Думал, может быть, разочаруется со временем в своём избраннике, ведь двадцать пять ей всего, успеет.

Нет, не вышло по-отцовски, пошло дело у молодых на совсем уже полный серьёз, и вот решено было, что наступил

момент знакомства и родителей. А тут как раз день рождения Виктора подоспел. Плетнёвы официально, на открытке, пригласили семью Лесновых, то есть Оксану и её отца, на 10 января к 20:00 в гости. Почествовать новорожденного, пообщаться, договориться о свадьбе. Чтобы всё, как у людей.

О серьёзном начали разговор в первый же час, после лёгкой закуски и вручения подарков Виктору (Павел Афанасьевич приготовил ему моднейшую вещь – шариковую трёхцветную авторучку, Оксана – чудесные самоцветные запонки и заколку на галстук), отправив молодых в другую комнату слушать музыку. Впрочем, долгого разговора и не понадобилось. Павел Афанасьевич на всё был согласен, так что договорились быстро: и когда, и в каком ресторане, и по сколько денег с книжек снимать. Только в одном попытался сказать своё слово Павел Афанасьевич, только одно условие попытался выставить – чтобы молодые до получения своей квартиры жили с ним. Плетнёвы в голос начали возражать: дескать, на двадцати двух метрах втроём не уместиться, да и от центра города квартира Лесновых за тридевять земель... Правда, сильно спорить не стали, позвали детей – как они рассудят. А Виктор с Оксаной, оказывается, давно продумали этот вопрос, квартиру внаём нашли и уже хозяину «полтинник» задатку дали. Ну и ну!

Что ж, им, молодым, жить. Павел Афанасьевич, крепко потирая пальцами колено, пытался представить себе, как будет томиться в одиночестве, бродя по пустой квартире в глу-

хие зимние вечера, но мешали голоса и музыка. «Надо собаку, что ли, завести...», – только и успел подумать он. Снова сели за стол. Зашипело по-змеиному шампанское. Оксана была разгорячена, заалел на её щеках румянец (поди, уже и нацеловаться с женихом успела), голосок звенел. Павел Афанасьевич встряхнулся: главное, чтобы дочери было хорошо. Он пристально ещё раз взгляделся в лица своих, уже можно сказать, новых родственников; особенно – старших, которых видел впервые в жизни: что ж, начальное впечатление не всегда точное. Неужели Оксана будет называть вот этого... *бодрого* человека – папой?... После всплеска оживления за столом наступило затишье. Все уставились в телевизор, шикарный «Рекорд» с большим экраном, и затихли – в программе повторялся новогодний «Голубой огонёк». Потом Плетнёв неожиданно, так что все вздрогнули и рассмеялись; прихлопнул пухлой ладошкой по краю стола и как бы между прочим предложил:

– Пойдёмте-ка, дорогой вы мой Павел Афанасьевич, на кухню да посумерничаем там по-мужски, а молодые пускай-ка с мамочкой посекретничают. Гут?

Пошли. На кухне Плетнёв сразу рванул дверцу холодильника и с наслаждением достал из его холодного светлого нутра почти полную бутылку заграничного коньяку и банку сахаренных лимонов.

– Ну вот, – сладострастно потирая руки, чуть ли не пропел он, – совсем другой коленкорчик! А то от шампанского уже

икается и в животе, прошу прощения, бурчит. Вы как – не против?

Павел Афанасьевич неопределённо пожал плечами, пристраивая ногу под узким кухонным столом. Вообще-то ему хотелось сегодня быть отзывчивым и любезным.

– Ну вот и чудненько!– рассыпался в счастливом смешке Плетнёв и изрядно плеснул в две фаянсовые ярко-красные пиалы.

Выпили. Леснов невольно поморщился: «Зачем он коньяк в холодильнике держит?»

За окном новогодними ватными хлопьями щедро валил снег. Невдалеке темнели башни новостройки, и прожектор с ажурного подъёмного крана казался диском ослепительной луны.

Плетнёв, тронув пальцами-сосисками за локоть замечтавшегося Леснова, придвинулся к нему и почему-то шёпотом спросил, показывая подбородком вниз:

– Вы простите моё любопытство, хочу давненько уж спросить: с фронта отметинка?

– Да нет, – с неохотой, невольно сжав пальцами колено, ответил Павел Афанасьевич, – это память от сорок шестого. Так сказать, от мирного уже времени. На фронте за четыре года ни одного серьёзного ранения, а тут вот...

– О-о-о, сорок шестой! Действительно – «мирное» времечко. Да ещё в наших местах. Я, знаете, как раз в сорок шестом, зимой, в такое приключение раз влип, что не приведи

Господь. Хотите расскажу? Но сначала надо голосовые связочки подмазать, пока моя кукушка не видит. Не подмажешь – не поедешь, хе-хе...

Судя по приготовлениям, Плетнёв рассказывал эту историю далеко не в первый раз и намерен теперь смаковать каждое слово, воротить подробности, делать эффектные паузы.

– Так вот, – начал он, промокнув бумажной салфеткой лоснящиеся губы, – случилось это, как я уже говорил, в сорок шестом, в наших Богом забытых местах. Я тогда в районе жил. Наверное, помните... Вы ведь здешний?

Плетнёв, дождавшись кивка головой слушателя, продолжил:

– В местах этих много разной шушеры сволочной в то время шлялось. Что ни денёчек, то и слышно: того убили, этого ранили, а с третьего одежонку содрали и последний кисет отобрали. И смех и грех: бабе вечером во двор по нужде надо и – ни-ни! – не пойдёт. Приходилось с ружьишком идти и сторожить свою благоверную.

Жили мы так неплохонько. Коровёнка имелась, курочек штук двадцать, да ещё кой-чего. И вот пристала ко мне однажды моя кукушка (это я так свою Марию Петровну шутя величаю): дескать, продай бурёнку, и всё тут, а то даром пропадёт. Тогда, знаете ли, мода у этой швали бродячей появилась: вечером хозяин накормит скотину, прикроет её в стайке, а утром глядь – уже нет коровёнки, где-то в лесу в котле варится.



Уговорила, значит, меня жинка, взял я гнедого в колхозе, сел в сани, привязал нашу Розку сзади, да и – в райцентр. Долго я с ней провандалался, пока продал, так что назад поехал, когда уже свечерело. За пазухой деньги лежат, в платок бабий увязанные, и деньги по тем голодным временам немалые. А за плечами, надо сказать, ружьишко болтается, так что я себя относительно спокойно чувствовал, но, вот именно, только относительно. А вокруг – темнѣхонько, звёздочки уже всюю, как говорится, ивановскую подмигивают, а мне ещё вёрст десять с гаком до хаты добираться.

Еду, еду, гнедка подгоняю и подъезжаю к самому растреклятому месту на всей дороге. Представьте себе: подряд три ложбины, и такие, чёрт бы их побрал, что как в колодец в них спускаешься. Глухомань и темень! И решил я, дурачина, для храбрости духа выпивончик себе позволить... А кстати, давайте и себе позволим, а?

Леснов молча и нетерпеливо пододвинул свою пиалу. Кажется, заминка в рассказе его раздражила. Плетнёв перевёл дух, смачно чмокнул губами и продолжил:

– И как раз перед этими балочками нечто вроде чайной притулилось у дороги. Привязываю я своего рысистого, охалку сена ему под ноги и – в тепло. И как оно получилось, чёрт его знает, только выпиваю я порцию, выпиваю и другую, а потом и третью. В шинке этом – народищу, и всё такие, знаете, на морду взглянешь и за ружьишко невольно покрепче цепляешься.

Водчонка здорово подействовала с морозцу-то. Я и ещё опрокидываю стопку. В голове уже шурум-бурум и уходить не хочется. Тут ещё какой-то мужичишка ко мне подсаживается,

– Угости, – кричит, – паря, век Богу буду за тебя молиться!

Наливаю я ему и сам с ним чокаюсь. А потом как кто за язык меня тянет, уж такой я дурак, когда выпью: «Ты, – говорю, – мужик, угостился и иди отсюда. Думаешь, деньги у меня выманишь? Нет, старче, мои денежки при мне останутся...» И так, знаете, самодовольно себя по карманчику, где деньжата лежат, похлопываю. Мужичонка вдруг хлюпать носом начал, а с меня хмель на минуточку слетел, и замечаю я, как за соседним столиком две образины бородатые шепчутся и на меня плотоядно поглядывают.

А-а-а, думаю, чему быть, того не миновать! И ещё водочки заказываю.

Долго бы я ещё сидел так, прохладжаясь, как вдруг глядь, а тех мужичков-то уж и след простыл.

Плохо дело! Начинаю понимать, что дал маху, да уж поздененько. Спыхватываюсь я скорей да на улицу выскакиваю. Луна на небе сияет, и свет такой, знаете, зловещий, что у меня сердчишко – тук! тук! Бросаюсь я в сани, да и трогаюсь, сначала не спеша, шагом, а потом кэ-э-эк хватану по гнедку бедному, он аж чуть из оглоблей у меня не выскочил... Что-то в горле пересохло опять, а?

Плетнёв, как бы испытывая заметное нетерпение слуша-

теля, медленно налил, взял свою кровавого цвета пиалу, медленно, втягивая ноздрями аромат, поднес её к сочным губам, втянул в рот терпкую жидкость и начал со вкусом обсасывать прозрачный кружок лимона. Из большой комнаты донёсся дружный, какой-то *семейный* взрыв смеха – «Голубой огонёк», видимо, получился удачный.

– А дальше? Дальше?! – не утерпел Леснов.

У него заметно дрожали руки, дыхание было неровным, выражение лица странно напряжённое, словно он чего-то ждал.

– Ну, значит, вжариваю я по гнедому и – аллюр три креста! – только снег столбом. В мозгах одна мыслишка: неужели ждут, падлюги! Первая балка всё ближе и ближе. Въезжаю я в неё, у двустволочки курки взвожу (патроны с картечью) и – ходу. Самая жуть, что прямо вдоль дороги кусты громоздятся, целый полк в таких зарослях спрятать можно. Каюсь, грешным делом пару раз чуть не звезданул дуплетом, но в последний момент удерживался – ложная тревога.

Выскакиваю из ложбины на лунный свет, останавливаюсь, снимаю шапку и пот с лица утираю. Пар от меня валит. Ну, думаю, разок пронесло, должен Бог помочь и дальше. А самого уже озноб бьёт...

Плетнёв, увлечшись рассказом, не замечал взгляда слушателя, не замечал усиливающейся в его глазах странной тревоги.

– Трогаю дальше, а сам чувствую, хмеля, кажется, уж и

помину нет. Еду я, еду и вторую балку так же благополучно проскакиваю. А сердчишко всё равно ноет, и перед третьей опять останавливаюсь я, чтобы, значит, дать и себе, и гнедку передышку, а сам пальцы с курков не снимаю, хотя и мерзнут они страшенно.

Стою, в балку, как в пропасть, всматриваюсь, потом перекрестился, хотя и неверующий. И – трогаю. Только начинаю погружаться, глядь – а луна вовсю светит – на самом дне фигура стоит и морду в мою сторону воротит. Я сдуру уже пытаюсь жеребчика удержать, чтоб, значит, назад заворотить – куда там! И сам чёрт на такой прыти не остановит. Ну, плююсь, двум смертям не бывать! Ожигаю кнутом гнедка, ружьё вперёд выставляю и лечу. Слышу: «Стой! Сто-о-ой!..»

Ах ты, думаю, гадина, ещё стоять тебе! Да только сравняемся, я гнедка в сторону передёргиваю да как рубану из обоих стволов – того сразу отбросило, только вскрик и повис в воздухе. И ведь так вскрикнул, словно удивился отпору – голыми руками собирался, сволочь, взять... Что это с вами, Павел Афанасьевич?

Леснов и сам чувствовал, как напряглось и побагровело его лицо, видел свои онемевшие пальцы, стиснувшие жёсткую кость набалдашника. Что? Что сделать этому человеку? Ударить его бутылкой по голове – да так, чтобы череп вдребезги?..

Словно вспышкой высветила память тот январский стылый вечер. Он вспомнил, как плёлся из последних сил, как

понял, что обморозил лицо, а бесчувственные ноги уже так устали разгребать свежавывапавший вязкий снег, что совсем не оставалось надежды добраться до жилья. И вот, когда уже готов был лечь на снег и успокоиться, вдруг услышал скрип полозьев, топот копыт, кинулся навстречу и – всполох огня, взрыв боли в ногах...

Его подобрали тогда, полуживого, замерзающего, истекающего кровью, и спасли чудом. И вот в эти прошедшие с тех пор двадцать лет Леснов не раз представлял себе в мечтах, как встретит когда-нибудь этого негодяя, этого паршивого труса, который ему, фронтовику, гвардейскому офицеру, искалечил жизнь в одну секунду – смял его семейное счастье, выбил из его судьбы любимое дело, швырнул в липкий плен каждодневной физической боли. Как Павел Афанасьевич в бессонные ночи, скрипя зубами и тихо, боясь разбудить дочурку, единственный свет в окошке, стоная, мечтал вот об этой встрече с человеком, у которого, он всегда это знал, губы будут обязательно мясистые, пунцовые и влажные от сытости, а взгляд будет говорить о том, что жизнь он прожил хорошо...

– Да нет, ничего, – почти прошептал Павел Афанасьевич, и ещё тише, как бы про себя, выдохнул: – Убийцей быть не хочу...

– Что, что?– встрепнулся поражённый Юрий Николаевич, чуть ли не притрагиваясь к руке Леснова своими потными пальцами. – Ах, да! Меня это, конечно же, ужасно мучает

всю жизнь... Убивать, вы правы, – страшно! Но я надеюсь и Бога до сих пор молю, что не насмерть свалил того ханурика, а только ранил. Калечить же таких надо, разве не так?.. Что ж вы не налили?

Хозяин взял отставленную гостем тёмную пузатую бутылку и опрокинул её над жадно раскрытым белым ртом пиалы, стараясь не плеснуть на клеёнку. Он удивлённо вскинул посоловевшие глаза, когда Леснов вдруг резко встал и, мучительно хромя, пошёл из кухни.

– Нам пора, – резко и непререкаемо бросил он в полумрак комнаты и начал наматывать на шею колючий шарф.

Оксанка выскочила, удивлённая, ткнулась ему в шею.

– Папка! Ну, папка! Что случилось? Чего ты?..

– Пошли, пошли, доча, нам пора, уже поздно...

Что-то было в голосе отца такое, что дочь, сразу поскучев, беспрекословно начала переобуваться. Выскочила хозяйка, принялась охать-ахать, строить догадки («Мой чего-нибудь лишнего ляпнул?..»), Виктор снова начал ухаживать за невестой, держа наготове её шубку, уже без шуточек, обиженным тоном предлагая себя в провожатые. Сам Плетнёв маячил в дверях кухни, хватаясь руками за косяки, и, никак не находя устойчивого положения, медленно то поднимал, то опускал ресницы...

Павел Афанасьевич и Оксана стояли на стоянке маршрутного такси и молчали. Свежевыпавший рыхлый, вязкий снег, по которому вновь сейчас растревожил ногу Леснов, будил

тяжёлые воспоминания. Отец смотрел украдкой на притихшую дочь, в этот вечер впервые остро и сладостно почувствовавшую себя невестой, и мучительно, до головной боли, думал: «Сказать или нет? Сказать или нет?..»

*/1973, 1978/*

# НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

## *Рассказ*

### 1

Случилось это внезапно.

До этого, уж разумеется, наслушался я в казарме бесщётное количество историй о том, как прыткие удалые солдатики прыгают в супружеские постели своих командиров. Весёлые истории, но – фантастические.

К примеру, в нашей 5-й роте командиром был капитан Хоменко – сам человек страшный (и характером, и рожей), деспот, и супружницу имел соответствующую: уже старую, страшнолюдную, солдафонского типа – ну прямо капрал в юбке! У замполита роты лейтенанта Демьянова жена была помоложе и помиловиднее, но уж очень необъятных размеров, бочка бочкой, и работала у него на глазах, под приглядом, заведовала полковой почтой, так что если кому из сапёров или сержантов и строила глазки, то, скорей всего, чисто платонически. Зампотех лейтенант Кошкин и старшина роты прапорщик Селезнёв были ещё сами холостыми, а взводами в строительных войсках командуют и вовсе, как известно, сержан-



ты.

Вот и поди разыщи при таких постных обстоятельствах командирско-офицерскую жену для блуда!..

Я уже дослуживал своё, числился в *стариках*, грезил о скором – месяца через четыре – дембеле и мечтал, конечно, о любви, но уже о любви, так сказать, настоящей – на воле, на гражданке. Почти за два года службы у меня было три *любовных связи* по переписке, с заочницами, да как раз в эти последние жаркие дни уходящего лета происходило непонятно что с Любой, мастером городского жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ), где я работал-служил дежурным сантехником-аварийщиком. Люба была замужем, имела 3-летнего сынишку, была вполне симпатична, но не более, и как-то так произошло-случилось, что мы с ней сначала принялись горячо болтать-общаться на работе, а потом однажды, когда никого в комнате мастеров больше не было, во время обеденного перерыва, мы в пылу жаркой беседы так сблизились лицами, что вдруг взяли и поцеловались. Ну и – началось...

Муж Любы часто уезжал в командировки (ну никак без анекдота не обойтись, вся жизнь – сплошной анекдот!), сына ей удавалось сплавить к свекрови под предлогом, что допоздна задержится на работе, и мы без помех могли, как принято выражаться ныне, заниматься любовью. (Вообще дико несуразное выражение: как можно заниматься *чувством*?!). Мы, вот именно – занимались. Не было, по крайней мере у

меня, ни особого жара-пыла, ни головокружения, ни восторга до обморока. Закрывались в квартире, наспех выпивали по бокалу-два шампанского для снятия напряжения, торопливо раздевались, повернувшись друг к другу спинами. Залезали под одеяло и... трахались.

Да, другого слова не подберёшь!

Впрочем, Люба, судя по всему, воспринимала это более чем серьёзно, даже речи заводила о своём разводе, о том, что поедет за мной после дембеля хоть на край света... Так что я мучительно придумывал, как бы покончить со всем этим. Во-первых, перспектива увода Любы с её сопливым пупсом от их экспедитора мне вовсе не улыбалась, а, во-вторых, если во время оргазма не теряешь сознания – для чего ж тогда трахаться?

Но – проклятый характер! – я всё тянул, всё оттягивал окончательное объяснение с Любой. Будь я вольным – взял бы даже, да и ушёл-уволился из ЖЭУ и постарался с ней в городе не встречаться, а тут...

В своей части я был помимо комсорга роты ещё и редактором полковой радиогазеты. Два раза в неделю я собирал-клепал очередной выпуск – всякие отчёты с полковых и ротных собраний, зарисовки-очерки о доблестных военных строителях и прочее в том же духе, оформлял всё это на бумаге и, перед тем как зачитать тексты в микрофон, визировал их у замполита части подполковника Кротких. Так сказать, – цензура на высшем уровне. Подполковник был – человек. Я при

входе, конечно, частенько паясничал по уставу – честь отдавал, приступал к докладу торжественному: мол, редактор полковой радиогазеты сержант Николаев прибыл для!.. На этом месте Александр Фёдорович меня обыкновенно прерывал шутливым ворчанием:

– Ладно, ладно... Давай, Саша, ближе к делу!

В этот июльский солнечный полдень я стучался в кабинет к замполиту вообще с особым настроением. Дело в том, что за неделю до того в каптёрке нашей роты появилось десять комплектов невиданной доселе повседневной формы – настоящие галифе и гимнастёрки образца 1949, что ли, года. Где-то на складах пролежала эта обмундировка более двух десятков лет, надёжно укрытая, не выцветшая, сочного табачного цвета, и вот теперь её какой-то интендант обнаружил и решил использовать по назначению.

Воинская казарма по части веяний моды и ажиотажа вследствие этого любому пансиону благородных девиц фору дать может. А так как при уставном единообразии формы фантазия модников весьма ограничена в средствах, то усилия их направлены в основном на покррой и фурнитуру. К примеру, кто-то первым в казарме придумал вместо брезентового ремня поддерживать штанцы подтяжками – вскоре все подтяжки не только в гарнизонном магазинчике, но и в городском универмаге исчезли-кончились. С этими подтяжками боролись отцы-командиры, старшины, патрульные *гансы*, но самые блатные модники армейские упорно щеголяли

в подтяжках и на смену отобранным непременно доставали новые. Были модные штучки и менее разорительные (например, жёсткие – из фибры, картона, а то и жести – вставки в погоны), были сверхобременительные, под силу только самым блатным и хватким (к примеру, форма «пэша», из полушерстяной ткани, которая выдавалась только прапорщикам и старшинам, но оказывалась порой на плечах иных сержантов и даже рядовых *дедов*).

Так вот, а тут появилась такая отличная возможность – вполне легально щегольнуть необычной формой, стать ротным законодателем моды. Естественно, десять комплектов гимнастёрок в результате жесточайшего спора, дошедшего даже до лёгкой драки, поделили между собой наши ротные дембеля – и то всем не хватило. И делили они всего восемь комплектов, ибо один по праву сразу забрал себе *каптёрщик* (ротный кладовщик) Яша, он хотя и был всего только *черпаком*, но уж такая у него блатная должность; а ещё один, уж разумеется, достался мне – как бы это комсорг роты да ходил вдруг чухнарём!

Когда я стучался в кабинет подполковника Кротких, новенькая необычная форма (со стоячим воротником, накладными кармашками на груди – шик!) была уже на мне. Целую неделю в свободное время я самолично (не может же секретарь комитета комсомола благовать и молодых эксплуатировать!) ушивал-подгонял её по фигуре, оснащал-украшал твёрдыми погонами, новыми пуговичками, белоснеж-

ным подворотничком с продёрнутой поверху жилкой-кантиком (что напрочь запрещалось уставом, но разве ж может *старик* ходить без кантика?!), зауживал галифе до крайней степени, так что натянутые подтяжками они, эти бывшие галифе, становились похожи на трико танцовщика балета, до неприличия подчёркивая все мои мужские достоинства – но чего не сделаешь ради писка казарменно-армейской моды!..

Я, естественно, даже несмотря на новенькую форму, намеревался подпустить в ритуал козыряния и уставного доклада, как обычно, толику иронии. Я уже и голос-тон соответствующий настроил, приоткрывая дверь замполитовского кабинета, как вдруг словно споткнулся внутренне: прямо напротив дверей сидела на стуле *она*...

Понимаю, все эти курсивы, многоточия и прочие графические ухищрения ничего не объясняют, никакой конкретной информации не несут. Ну, а как эту самую информацию передать? Как объяснить просто и толково, что я в тот же момент, в ту же секунду словно как толчок в сердце ощутил-почувствовал, словно как понял-осознал мгновенно на подсознательном, на сверхглубинном уровне каком-то – это *она*... Это – ОНА... Это – **она**... Не знаю, как ещё можно подчеркнуть-выделить! Я раньше о подобном только читал да знал понаслышке, а теперь вот сам испытал: действительно, можно ощутить странный толчок в сердце и начать глубже дышать при самом первом взгляде на женщину, и тут же почувствовать, что между вами вдруг возник-

ла-протянулась мгновенно какая-то паутинка-связь...

Сначала – общее впечатление: у неё были распушенные по плечам светлые волосы, слегка волнистые, у неё были большие тёмные глаза, посмотревшие на меня сначала строго и высокомерно, но тут же вдруг смягчившиеся (гимнастёрочка!), тонкое лицо её с чуть резковато очерченными скулами было аристократическим в том смысле, в каком понимаю это определение я, начитавшись Стендаля и Тургенева, стройная, даже можно сказать – сухоощавая фигура под светло-палевым открытым платьем, необыкновенно длинные ноги в прозрачном капроне...

Да что там объяснять: она была вся какая-то необыкновенная, из другого мира! Причём, напомним-подчеркну: несмотря на свой армейско-солдатский статус, я общался с женским полом каждый день, так что взгляд мой ни в коем случае нельзя было посчитать *голодным*.

Разумеется, я отпрянул, бормотнув нечто вроде: «Вы заняты?», – но подполковник Кротких удержал меня:

– Заходи, заходи! Как раз кстати. Вот, Мария Семёновна, один из лучших наших ротных секретарей – сержант Николаев, из пятой роты. Я вам о нём говорил...

Эта незнакомая ещё мне Мария Семёновна окинула меня оценивающим взглядом, лицо её уже совсем смягчила улыбка. Я чуть руками не всплеснул от восхищения – какая ж у неё была улыбка! Руками я не всплеснул, я от распиравшего меня восторга тут же и глупость выкинул, опарафинился.

Я как последний олигофрен шизодебильный выпятил свою цыплячью грудь в новой гимнастёрке, молодцевато, как мне мнилось, бросил оттопыренные острия пальцев к пилотке, прищёлкнул сточенными по армейской моде каблуками сапог и начал, багровея от натуги, рывкать:

– Товарищ! Подполковник!! Сержант!!! Николаев!!!! Прибыл!!!!!!..

– Стоп! Стоп! Саша, с ума сошёл? – даже привскочил Александр Фёдорович. – Да ты Марию Семёновну напугаешь!

Красавица рассмеялась.

– Проходи, садись, – продолжил замполит, – и познакомься с нашей новой заведующей сектором учёта комитета ВЛКСМ части Марией Семёновной Ключевой. Надеюсь, вы с ней найдёте общий язык, подружитесь...

Знал бы добрейший Александр Фёдорович, ЧТО он тогда сказал!..

## 2

Уже вскоре я в казарме только ночевал.

Я и раньше-то, когда находился в расположении части, то в своей роте времени мало проводил, всё больше в библиотеке или в радиокомнате на 3-м этаже штаба торчал, а теперь и вовсе дорогу *домой*, в наш крайний подъезд забыл. Полк наш

размещался в панельном доме, внешне похожем на обыкновенную городскую пятиэтажку. Вот я окончательно как бы и переселился в первый подъезд, где размещался штаб, только теперь прописался на пятом этаже, в комитете ВЛКСМ части. Старший лейтенант Чернов, командир комсомолии полка, показывался здесь редко, да у него и отдельный кабинет был. А мы с Машей обитали в её комнатке-закутке, загромождённой шкафами с учётными карточками воинов-комсомольцев.

Машей она для меня, естественно, не сразу стала. Я, поначалу сам себя обманывая, взялся таскаться через день да каждый день в сектор учёта к Марии Семёновне, якобы, по неотложнейшим делам. О-го-го, каким я вмиг стал самым аккуратным, деловым и старательным ротным комсомольским вожаком не только в нашем полку, но даже в гарнизоне, а то и – во всей Советской Армии, включая Воздушные Силы и Военно-Морской Флот. Сто с лишним учётных карточек комсомольцев-воинов нашей роты я без устали заполнял, дополнял, поправлял, вылизывал, чистил, просматривал, проветривал, проглаживал, пересчитывал, сверял, перекладывал, выравнивал... А кроме этого разве ж мало могло быть и других дел-забот у настоящего секретаря комитета комсомола роты в секторе учёта комитета ВЛКСМ части?..

Понятно, что если человек не совсем туп и нагл, его обязательно будет угнетать собственная назойливость по отношению к другому человеку и придавливать мысль-тревога,



что тот человек терпит тебя только в силу аристократического воспитания и безмерной доброты характера. Меня и угнетала моя назойливость, меня и придавливали подобные мысли, но я ничего поделать с собою не мог. Гениальное пушкинское: *«Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я...»*, – это про меня. Утром на подъёме, вздрогнув по привычке от мерзкого рёва старшины или дежурного по роте и переждав топот-гам салаг и черпаков, я заворачивался поплотнее в одеяло, но сон теперь *бежал моих глаз*, даже если я пришёл с ночной смены и только-только завалился в постель. Я думал о Маше. Я о ней *мечтал...*

И, понятно, едва дождавшись девяти часов, я опрометью бросался на 5-й этаж штабного подъезда. Я теперь охотно подменял своих сотоварищей по сантехнической службе во вторую и третью смены, так что почти каждый будний день имел возможность *вплотную заниматься комсомольскими делами-заботами*. Вот именно – будний! Суббота с воскресеньем начали превращаться для меня в подлинную пытку, пока...

Впрочем, я забегаю вперёд!

Повторяю, меня угнетала поначалу мысль-тревога, что я чересчур назойлив, надоедлив, докучлив и несносен. Я торчал в кабинетике Марии Семёновны, что-то лепетал-общался, но всё украдкой заглядывал в глаза её, дабы захватить-заметить в них отблеск скуки и раздражения. Я бы, клянусь,

нашёл тогда в себе силы скрутить себя, схватить, образно говоря, за шкурку новой моей моднячей гимнастёрки и вытащить из этого райско-комсомольского кабинета. Но в том-то и заваyka, в том-то и парадокс, что никак я отблеска такого в прекрасных глубоких тёмно-карих глазах Марии Семёновны уловить не мог и, с облегчением переведя незаметно дух, со взмокнувшей спиной продолжал что-то говорить-бормотать, жадно пожирая её взглядом и явно чувствуя-ощущая всеми фибрами души и тела какие-то томительные флюиды, исходящие от неё. Если быть грубым и точным: в присутствии Маши, находясь от неё в двух-трёх метрах, через стол, я испытывал по накалу и температуре абсолютно то же самое, что с Любой и какой другой женщиной в момент оргазма. Поэтому я даже и помыслить-представить боялся, что произойдёт-случится, если я прикоснусь хотя бы только к её руке... А уж о поцелуе я и мечтать не смел!

Впрочем, я зачем-то начинаю фиглярничать.

Разумеется, уже вскоре я с душевным трепетом начал догадываться, что Марию Семёновну мои визиты и долгие сидения в её кабинетике-будуаре не так уж сильно тяготят. Даже – наоборот. Само собой, разговоры-беседы наши со временем перестали ограничиваться комсомольско-дурацкими заботами. Мы нашли более волнующую тему – литература. Вот тут уж я мог показать-проявить себя в самом выигрышном свете! Обыкновенно, я не очень-то красноречив, особенно с женщинами, но лишь только разговор касался лите-

ратуры – о, тут я почти мгновенно превращался в Цицерона, в Бояна, в Шехерезаду, в Соломона библейского. По крайней мере – в страстности тона. Я слюной начинал брызгать, когда говорил о литературе – вот до чего доходило. И можно представить себе моё, если можно так выразиться, восхищённое обалдение, когда выяснилось, что Маша не только любит и знает литературу (что в женщинах встречается не так уж часто!), но она знает её профессионально, серьёзно, лучше меня. И окончила она к тому же библиотечный факультет института культуры. Я, читавший до этого по методу «что под руку попадёт» и в основном классику, начал целенаправленно поглощать журналы и книги, которые приносила мне из дому Маша, всё самое-самое – «Беседы при ясной луне» Шукшина, «Живи и помни» Распутина, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «Сто лет одиночества» Маркеса, «Немного солнца в холодной воде» Саган, «Три товарища» Ремарка, «Сожжённая карта» Кобо Абэ...

Но вскоре, несмотря на все наши жаркие разговоры-диспуты о литературе, я вполне убедился, что я *боюсь* Марию Семёновну. Позже из трактата Стендаля «О любви» я вычитаю-узнаю, что патологическая робость в присутствии женщины есть первый признак настоящей любви. Да, да! По утверждению великого француза-любвеведа, одним из основных признаков, и самых точных, того, что вы полюбили, что вам не просто нравится эта женщина, а вы именно вспыхнули к ней любовью-страстью, этим признаком служит

именно робость.

И я ведь совсем забыл сказать, что Маша, Мария Семёновна была на три года старше меня, имела сына Павлика четырёх лет, муж её, старший лейтенант Ключев, командовал ротой в соседнем полку, и девичья её и тоже литературная фамилия – Гликберг – каким-то непонятным образом усиливала и уплотняла мою робость. Я звал её Марией Семёновной, она меня – по имени, Сашей, но тоже на «вы». И я, конечно же, втайне мечтал, чтобы как-нибудь, в пылу-разгара разговора *пустое «вы» горячим «ты» она, обмолвись, заменила...*

Однажды, прошёл уже месяц со дня нашего знакомства, мы опять, забыв обо всём на свете, общались. Маша как раз принесла после обеда сборник рассказов Василия Макаровича Шукшина, о котором я до того только краем уха слышивал, и, торопясь нас с ним свести-познакомить, вслух взялась читать мне «Раскас»:

*«От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах – сбежала с офицером.*

*Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашёл на столе записку:*

*“Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила”...»*

Маша уже знала, что дальше будет смешно, я же по пер-

вым строкам настроился на драму. Правда, слово «пенёк» меня уже удивило. Вскоре мы были вынуждены то и дело прерывать чтение, хохоча как безумные над «раскасом», который написал бедный деревенский Каренин в районку по горячим следам своей семейной трагедии.

*«Значит было так: я приезжаю – на столе записка. Я её не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дуручка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожа она прямо щастливая становилась. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остаётся делать: хватать ружьё и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой – вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой всё в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобщем то не дура, но малость чокнутая нащёт своей физиономии. Да мало ли красивых – все бы бежали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» она конечно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сiali на шею обчеству и радёшеньки. А гусударство в убытке...*

*Эх, вы!.. Вы думаете еслив я шофёр, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабёнку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпался к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибуть жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходея людям.*

*Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што она там наладит новую. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четьре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на её тратила – учила. Ну, и где же та учёба? Её же плохому-то не учили... У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об ём слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки...»*

И тут, как раз на этих строках «Раскаса» дверь без стука отворилась и в наш мир ввалился незнакомый мне старший

лейтенант в парадной форме. Мы с Машей, по инерции смеясь, на него глянули. Старлей, не обратив на меня ни малейшего внимания, закричал Маше:

– Ну чего ты не звонишь-то? Что, забыла? Нам же к четырём успеть надо!..

Улыбка с лица Маши сползла-исчезла, сменилась невольной досадой. И эта заметная смена её настроения вдруг тёплой волной радости колыхнулась внутри меня.

– Помню я, помню! – досадливо ответила она. – Ты бы прежде с человеком поздоровался...

Клюев (уж конечно, я догадался!) удивлённо смерил меня взглядом сверху донизу. Я, впрочем, встал и даже принял-изобразил подчёркнуто некое подобие стойки «смирно». Он несколько ошарашено протянул:

– Здра-а-авствуйте, товарищ сержант!

– Здравия! Желаю! Товарищ! Старший! Лейтенант! – прогавкал бодро я.

И тут же краем глаза я увидел-заметил, как Маша поморщилась, сжала от досады кулачок, недоуменно на меня глянула. Вот те на! Значит, с подполковником Кротких такие шутки проходят и одобряются, а со старлеем Клюевым ни-ни? Но меня заклинило, меня понесло, меня потащило. Я набрал в лёгкие воздуху и ещё более дебильно отлял:

– Секретарь комитета Вэ эЛ Ка Сэ эМ пятой роты войсковой части пятьдесят пять двести тринадцать сержант Николаев сверку комсомольских документов к Ленинскому зачё-

ту закончил! Раз-з-зр-р-решите идти, товарищ старший лейтенант?!

– Идите, – огорошено ответил Машин муж, на полном серьёзе козыряя мне в ответ.

Я лихо сам себе скомандовал вслух: «Напрааа-во!», – шандарахнулся плечом о косяк так, что штукатурка посыпалась, вывалился из кабинета, спустился как в чад на третий этаж, прыгающими пальцами еле справился с замком, взялся смолить-жечь сигареты одну за другой и метаться по тесной клетушке своей загромождённой радиокомнаты, шепча и вскрикивая то и дело:

– Вот гадство!.. Ну и ну!.. Да-а!..

Самое противное было то, что я сам себе внятно не мог объяснить, с чего это я вдруг так взъерошился. И вообще, парень, какое ты имеешь право взъерошиваться? Ну с какого ты здесь припёку-то, а?..

Это случилось-произошло во вторник. Уже со среды я упорно, преодолев все препоны, взялся выходить на боевое сантехническое дежурство в первую – дневную – смену. Люба, глупышка, встрепенулась. Впрочем, я таки давал ей какие-никакие надежды-поводы: очень уж на душе было паршиво и хотелось участия, сочувствия и – пропади оно всё пропадом! – женской ласки. Любин мужик в воскресенье уматывал в командировку, а пока, в ожидании этого, мы с ней играли в жманцы-обниманцы по углам да целовались украдкой. Целовалась Люба, несмотря на нескольколетний



супружеский стаж, неумело, плохо – жеманно.

Контора наша занимала подвал пятиэтажного жилого дома. В свободное от аварийных вызовов время я любил посидеть на свежем воздухе у подъезда на лавочке, читая книгу и вдыхая ароматы цветочных клумб. Если, разумеется, никто не мешал. В пятницу после обеда читать мне не давала Люба. Она сидела рядом, болтала без умолку и тормозила меня: ах, да как это мне читать не надоест, да как бы скорее воскресенье настало, да что если нам завтра, в субботу, где-нибудь встретиться... При этом бедная Любаша натурально висла на моём плече, а, надо признаться, комплекции она была далеко не самой легкокрылой, в балерины бы мою Любаню точно не взяли...

Вдруг я резко откачнулся от неё, оттолкнулся и отодвинулся. И только уже сделав это, понял-осознал – почему: по тротуару шла-приближалась к нам Маша, Мария Семёновна! Я уже вздумал было зачем-то юркнуть, как нашкодивший щенок, в подъезд, в свой спасительный подвал, но Маша была уже страшно близко, уже смотрела на меня, и сначала удивление, а затем и радость (да-да, радость!) засветились поочерёдно на её лице.

– Саша?

Я хотел вскочить, но обнаружил, что уже давно сделал это, чуть было не бросил руку к пилотке, но вовремя опомнился, забормотал дебилно:

– Здравсте!.. Я вот тут... Мы тут дежуриим... Вот и Люба...

Любовь Дмитриевна... Она – мастер... Мы в первую смену дежури́м!.. Чтоб аварий не было!..

– Да? – спросила Мария Семёновна (несмотря на раздрай внутри себя, я заметил её смущение и явную растерянность). – А я живу в этом доме... В первом подъезде... Я домой иду...

– Домой?.. Это хорошо!..

– Да, домой это хорошо...

Диалог уж загибался-уходил куда-то в совершеннейший тупик. Мария Семёновна окончательно смешалась, кивнула как-то неловко и молча головой, как бы прощаясь, и быстро пошла прочь. Каблучки её по асфальту – цок! цок!

Я совершенно позабыл о Любе, а она вдруг как вскочит, как вскрикнет чуть не на всю улицу: «Эх ты!», – закрыла лицо ладошками и побежала тоже прочь, только в противоположную сторону. Я тупо смотрел ей вслед и слушал напряжённым слухом сзади: цок! цок! цок!..

В подвздохе сладко пристанывало.

### 3

Самое лучшее определение человека, моё по крайней мере, – баран яйцеголовый.

Ведь я на сто процентов точно знал и был уверен, что если я в понедельник с утра заявлюсь в комитет комсомола

части – мне там будут рады. Однако ж продолжал сидеть в роте, в Ленкомнате, играть с дежурным по хате сержантом Жуковым в шахматы. К слову, шахматы – ну совершенно дурацкая игра! Они думать-размышлять о постороннем не дают-мешают. Я проигрывал партию за партией, стратег хренов Жуков мурлыкал марши и самодовольно похрюкивал.

Я чего-то тянул время, выжидал. И – выждал-дождался!

Прибежал дневальный, лысый салажонок, и, заикаясь от волнения, сбивчиво доложил: секретаря комитета комсомола 5-й роты просят срочно явиться в комитет комсомола части...

– Точно просят? А может, всё же – приказывают? – нашёл в себе духу пошутить я и опрометью бросился в штаб...

Мы, конечно, мы, разумеется, говорили с Марией Семёновной только о комсомольских делах-заботах. Да, сначала мы обсуждали только неотложные комсомольско-молодёжные задачи в преддверии того самого Ленинского зачёта...

Потом ещё о чём-то говорили – может, о литературе, может, о водопроводных авариях, может быть, даже о мастере ЖКУ Любе или *отличнике боевой и политической подготовки* старшем лейтенанте Ключеве... У меня в одно ухо влетало, в другое выпархивало. Я каким-то сто двадцать шестым чувством понимал-догадывался, предчувствовал-ожидал чего-то невероятного, что, я знал, непременно сегодня случится, обязательно произойдёт...

Перед обедом, перед выходом на обед, Мария Семёновна,

как обычно, хотела подкрасить губы (я ужасно любил этот момент!), уже тюбик с помадой из сумочки вынула, но вдруг бросила его обратно, щёлкнула замочком, встала, поправила причёску перед зеркалом, вышла, как обычно, впереди меня в полумрак коридорчика-тамбура, подёргала зачем-то запертую дверь старлея Чернова, наклонилась к своей двери, вставляя ключ в замочную скважину, сделала один оборот, вдруг выпрямилась, скинула сумочку с плеча, зацепила-повесила на торчащий ключ, повернулась ко мне, качнулась вплотную, обняла, прижалась и, заглядывая сумасшедше блестящими глазами в мои глаза (мы были одного роста), выдохнула приглушённо:

– Ты *этого* хочешь?

Не знаю, что меня сильнее потрясло: впервые сорвавшееся с её губ «ты», непонятное, таинственное «этого» или пьяняще-пугающее «хочешь». Я не соображал и не хотел сообщать. Я жадно, неуклюже, изо всех сил прижал её к себе, ткнулся губами сначала в щёку, в нос, успел мгновенно и окончательно испугаться, что сейчас всё превратиться в фарс, нелепо оборвётся, отыскал-таки в полумраке её рот, прижался, губы её поддались-раскрылись, она ответила на поцелуй и вдруг застонала, тело её в моих объятиях шевельнулось в извиве, почти в конвульсии, я правой ладонью нашёл её грудь, угадывая-ощущая каким-то чудом под двойным слоем материи трепетную нежность соска...

И вот, когда я, уже вовсю истекающий соком, взялся на-

обум Лазаря чего-то у неё там шарить и пытаться расстёгивать, Маша вдруг оттолкнула меня, шепча бессвязно: «Всё!.. Не надо!.. Потом!.. Хватит!..», – поправила блузку, схватила сумочку, повернула на второй оборот ключ и исчезла. А я ещё минуты две столбом торчал в предбаннике *нашего* кабинета, боясь что-нибудь понимать и окончательно во что-нибудь поверить. Потом, когда я пробирался по лестнице к себе в радиорубку, мне приходилось прикрывать от встречных штабистов мои чересчур зауженные по армейской моде бывшие галифе специально снятой для этого с головы пилоткой.

Я пылал, я горел, я был буквально болен.

Окно редакции радиогазеты выходило, к счастью, на наш полковой плац. Я прилип к нему, едва отдышавшись и уравновесив пульс. Впрочем, толком сделать это не получалось, я вновь и вновь ощущал-чувствовал на губах своих губы Марии Семёновны, Маши, слышал въяве её приглушённый стон. Только б никакая сволочь меня сейчас не дёрнула, не отвлекла – комроты или подполковник Кротких...

– Стоп! – сказал я сам себе. – Остынь, парень! Александра Фёдоровича-то не трогай. И – член свой о подоконник не сломай!..

Невольно фыркнув, я заставил себя оторваться от окна (всё равно она раньше чем через час не вернётся) и заметался по своей норе-комнатушке, пытаюсь проанализировать случившееся. Такого поворота событий я и предполагать не мог. Скажем точнее: я и мечтать об этом не смел. Я к ней,

к её руке только однажды случайно прикоснулся – подал ей карандаш, упавший со стола, так меня и то в жар бросило, и я корчился на стуле с четверть часа, старательно прикрывая всё той же пилоткой свои дурацкие сапёрские штанцы. Да что там – прикосновение-касание! Я вообще в её присутствии, только лишь заглядывая в её глаза, слыша её голос, улавливая обострившимся до невероятности чутьём пьянящий *запах женщины*, исходивший от неё, испытывал примерно то же, что испытывал ещё подростком в предутренних жарких снах, заканчивающихся первыми содрогательными поллюциями. То, что я испытал-почувствовал только что в полутёмном предбаннике-коридорчике, этот взрыв телесного и душевного наслаждения даже и сравнить-сопоставить нельзя было с тем суррогатом судорог, каковыми завершались-заканчивались суетливые совокупления с той же Любой или теми несколькими девочками, женщинами и бабёшками, с которыми до того постигал я упрямо скорбный опыт плотской любви.

Этот скорбный опыт мне и подсказывал – Рубикон перейдён. После поцелуя, после *таких* поцелуев дальше всё показаться по накатанному пути. О, может быть уже сегодня, уже через час-полтора я буду раздевать Машу, шарить жадными руками в самых потаённых уголочках её тела, буду ласкать-горячить неистовыми поцелуями её губы, груди, живот, бедра!.. Стоны её будут становиться всё громче и бесстыднее, телодвижения всё откровеннее и неистовее, она будет

кусать меня от страсти и в самый последний миг, когда переплетённые в экстазе тела наши начнут содрогаться в конвульсиях оргазма, она исступлённо вопьётся ногтями в мою спину, и я от сладостной боли в голос зарычу...

В сей мечтательно-пикантный момент, чуть не спустив, не кончив наяву, я сам себя грубо оборвал-охладел: ага, и в это время войдёт старлей Чернов или, того чище, старлей Клюев! Да и как ты собираешься, голубчик, всё это осуществить на деле – на полированном столе, что ли? Или, может, прямо на затоптанном полу? Да и вообще, ты разве об этом мечтал-думал? Только об этом?..

И тут я начал вытворять сам с собой невероятные вещи, фантастические! Я смотрел в окно, с третьего своего этажа, как идёт-цокает по асфальту плаца Мария Семёновна к штабному подъезду, прослушал, скорчившись у двери, как она прошла-поднялась (цок! цок!..) по лестнице к себе в поднебесье, задержавшись на секунду (или это только показалось мне?) на моём этаже, затем выбрался почти на цыпочках из штаба и зачем-то вдоль стенки, скрываясь, хотя окна комитета комсомола выходили на другую сторону, на казарму соседнего полка, пробрался домой, в свою роту. Там я, забыв совершенно про обед, запаковался в одеяло и попытался унырнуть в успокоительный сон. Меня слегка лихорадило, голова распухла от дум-переживаний, на душе было смурно. Мне и вправду каким-то чудом удалось часа на два уснуть – словно погрузиться в тёплую ванну, заполненную

нирванной томительных грёз.

Изматывающих грёз-сновидений...

## 4

Нет, правда, так поступают только совсем спятившие!

Помятый с утра комроты Хоменко минуты две изучающе рассматривал мою совсем не бравую стойку, хмурил кустистые брови. Моё заявление-демарш об экстренном выходе в первую смену ему не понравилось. Он засопел, густо задышал перегаром.

– Что-то ты, комсорг, я смотрю, чудить начал, а? И в роте дела совсем забросил – всё по штабам больше ошиваешься. Из сектора учёта, говорят, не вылазишь... Что, вольным себя уже почувствовал, сынок? Рановато! Или блоть заела? Я блоть-то вышибу! Вот что: пойдёшь сегодня дежурным по роте – понял? Чтоб от безделья и всякой хренотени не маялся...

Капитан, как всегда, был красноречив и резок. Впрочем, может, он и прав, может, действительно, всё это – *хренотень*? Я и хотел, отодвинувшись от Маши в пространстве подальше, капитально всё обдумать-обмозговать. Я жутко мандражировал. И сам толком не мог объяснить себе – чего я так боялся? Не мужика же её, в конце концов, этого *отличника боевой и политической подготовки*, которого видел лишь раз



и о котором Мария Семёновна говорить-помянуть не любила. И не сына Павлика, о котором она говорила-вспоминала с охотою, но которого я видел пока только на фотографиях. Выходит, я её, саму Машу, боюсь? Или – себя? Или всё же того, что должно непременно вот-вот произойти-случиться между нами?..

Вообще-то я смутно догадывался о подспудных причинах накатившей на меня давящей робости. Я не раз проигрывал-прокручивал в воображении эту гнусную картину: я захожу или вбегаю, или даже влетаю в кабинет Маши на крыльях своей клокочущей (уж разумеется – клокочущей!) любви, бросаюсь к ней, дабы обнять, прижать к пылающему (да, пылающему!) сердцу, страстно (страстно!) поцеловать, как вдруг – ладошка-преграда навстречу, недоуменный взгляд, высокомерное: «Это что ещё такое?!»...

Дежурить по хате мне до этого приходилось всего раза два, с непривычки я к вечеру умайдохался, и когда на вечерней поверке сдал дежурство другому сержанту, с облегчением упал в постель и почти сразу отрубился. Но всё же успел, по извечной своей мазохистской манере, потрогать-пощупать родимые душевные болячки, порасколупывать их: весь день ты, парень, ждал-надеялся, что тебя каким-нибудь макаром пригласят-позовут в штаб, *на пятый этаж*, ты об этом потаённо мечтал, голубчик, потому что ещё глуп и наивен, как щенок трёхмесячный...

На следующий день, упорно удерживая себя в роте якобы

наинеотложнейшими делами-заботами и вздрагивая-замирая от звонков телефона на тумбочке дневального, я продержался до обеда и затем вприпрыжку поскакал в родное ЖЭУ на сантехническую вахту во вторую смену. Уже сравнительно поздно, часов в девять, когда напарник мой, рядовой черпак, один уехал по пустячному вызову прочищать забитый унитаз, я включил душ на полную мощность и всласть помылся-поплескался. Нет, всё же не дурак был папаша Шарко – душ отлично утихомиривает разгулявшиеся нервишки. Я начал петь-напевать ещё под струями, явственно улавливая, несмотря на хреновый слух, в шуме их музыку, продолжал заливаться вполголоса соловьём, напяливая на себя исподнее и форму, ещё мурлыкал и выходя из душевой, расчёсывая свой солдатский куцый чубчик:

*У любви как у птишки крылья,  
Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-а-а!..*

И – остолбенел: посреди нашей зачуханной затхлоЙ дежурки невероятная в своей розовой кофточке и светлой юбке стояла Мария Семёновна Ключева, и со смущённой улыбкой смотрела на меня.

– Вы?! – выдохнул я.

– А мы уже опять на «вы»? – спросила она и, явно стараясь побороть смущение, шутливо нахмурила брови. – А вот за *ваши* пение *вас*, товарищ сержант, мало на гауптвахту по-

садить!

– Но как же?.. – в отчаянии глянул я в сторону диспетчерской загородки, мне было не до шуток: оттуда через стекло на нас в упор засматривалась Галина Максимовна – сегодня, как назло, случилась именно её смена.

Маша недоуменно тоже, вслед за мной, посмотрела на гластастую женщину: дескать, в чём дело? Я увлѐк её побыстрее на улицу и, поднимаясь вслед за ней по лестнице, чуть не задохнулся наконец от счастья. Её появление именно здесь и именно сейчас было такой фантастической, но такой втайне *ожидаемой неожиданностью*.

– Маша! – вскричал шѐпотом я (в первый раз я так её называл!). – Ты что не узнала? Это же – Галина Максимовна Сазыкина! Жена командира *вашего* полка!

– Да? – не очень сильно удивилась Маша. – А мы с ней и не знакомы. Я вообще офицерских жѐн ни из *вашего* полка не знаю, ни из *нашего*. И – слава Богу! А ты вот лучше, дружок, скажи, почему это вдруг носа не кажешь? Я тебе уже второй день на работу Ремарка ношу... Обиделся, что ли?

Я запунцовел, увѐл взгляд в сторону, дебильно замычал что-то нечленораздельное (тьфу, какое мерзкое словцо!). Главное, я не знал, как к ней обращаться. Вернее, я хотел снова сказать-вскричать: «Маша!» – обнять-сжать её в объятиях, простонать страстно: «Я по тебе так соскучился!» – и начать её ненасытно целовать, дабы повторилось безумие понедельника, но... Вот именно – растреклятое «но»! Реши-

мости не хватало.

– Маша! – всё-таки вскрикнул я и схватил её в страхе за руку: она хотела сесть на скамью и именно на то место, где сидела ещё совсем недавно Люба. – Пойдём...те отсюда!

Я думал, она повернёт к первому – своему – подъезду, но мы отправились в другую сторону. Уже крепко смеркалось. У третьего подъезда стояла такая же скамья, она была пуста. Мы сели. Я мучительно придумывал шутку, с которой начался бы лёгкий непринуждённый разговор. Я уже дебильную ухмылку на лицо приклеил и начал было: «Муж из командировки возвращается...», как Маша развернулась всем телом ко мне, положила руки мне на плечи и, строго засматривая в глаза, почему-то шёпотом сказала:

– Не надо! Слышишь? Не надо вести себя, как мальчишка! Я что – сама тебе в любви объясниться должна, да? Ты что, ничего не понимаешь?..

Я, оглушённый, обхватил её и уже совсем было решился поцеловать, но она сама – первая – приникла к моим губам...

Когда я чуть очнулся, руки мои обнаружили под её кофточкой, на спине, судорожно расстёгивающие крючочки – я страшно суетился, боясь, что меня остановят-прервут. Я никак не мог разобраться где там что, сцена затягивалась...

Вдруг она, в нетерпении оттолкнув меня, завела свои руки назад, гибко перегнулась, сделала пару лёгких движений и опять приникла ко мне губами. Моя рука тут же скользнула под лёгкую материю и, не встретив препятствий, накры-

ла-сжала податливый холмик груди. Маша вздрогнула, выгнулась в моих объятиях, стон – то ли её, то ли мой, то ли наш общий – наверное, заставил вздрогнуть жильцов первого этажа. Было страшно неудобно сидеть изогнувшись, с перекрученным телом. Да и никак не получалось запустить под кофточку сразу обе руки. Я уже крайне осмелел, я уже хотел удобства в ласках, я уже мечтал о большем...

И тут меня озарило, я вспомнил – Господи, да как же это я мог позабыть!

– Маша! – я вскочил. – Подожди, Маша! Вот что, Маша! Я совсем забыл, Маша!..

Дело в том, что в подвале именно этого, третьего, подъезда, который тоже занимало наше ЖЭУ, располагался красный уголок – там было сухо, там было чисто, там было пустынно, и там стоял *прекрасный* теннисный стол. Ещё пару часов назад мы с напарником резались там в пинг-понг, и я, как всегда, надрал его в десяти великолепных партиях, но не в этом суть, суть-то совершенно в другом, суть в том, что ключ от подвала я до сих пор ещё не отдал, не сдал Галине Максимовне, он, этот распрекрасный красавец ключ, лежал-покоился, голубчик, в кармане моей пижонско-дембельской гимнастёрки, и мне осталось только достать его и применить по назначению – открыть двери рая, где нет ни единой посторонней души, но зато есть *великолепный* теннисный стол...

Я хотел объяснить всё это Маше, у которой огромные гла-

за в сумерках казались совсем чёрными и смотрели на меня нетерпеливо и вопросительно. Вдруг взгляд её соскользнул с моего лица куда-то в сторону, за моё плечо, хмельная улыбка начала исчезать-растворяться с её лица, исчезла вовсе, и она, приглушённо вскрикнув, чуть оттолкнула меня. В тот же миг кто-то сзади грубо ухватил меня за плечо и рывком развернул. Я глянул и – как мордой об асфальт: *гансы!*

Сволочной и безжалостный армейский патруль.

## 5

Капитан Хоменко был суров:

– Ты что, комсорг, половой гигант, что ли? То в секторе учёта ночует, то на рабочем месте свиданки устраивает!

Я попытался было объяснить, как и накануне гансам, что это всё случайно, что незнакомая мне женщина из этого дома хотела пригласить меня для устранения течи в трубе, потому я и вышел без пилотки, ремня и маршрутного листа – только взглянуть на трубу... Да разве командирам и гансам-сволочам можно что-нибудь объяснить-втолковать?

– Слушать приказ! – оборвал комроты. – С сегодняшнего дня, если узнаю, что в секторе учёта находился – лычки по-обрываю к чёртовой матери и на дембель в последнюю очередь пойдёшь. Старшего лейтенанта Чернова я предупредил. Всё ясно?

– Так! Точно! Товарищ! Капитан!

– То-то же! И вообще, давай собирай отчётно-перевыборное – хватит благовать...

Капитан Хоменко, чуть подобревший от моей покладистости, что-то ещё там мне втолковывал, но я уже даже и краем уха не слушал. Что же теперь, выходит, я Машу совсем не увижу? Абсурд какой-то! Но с командиром роты окончательно портить отношения отнюдь не хотелось, да и с него станется поставить в известность своего коллегу из соседнего полка старлея Ключева. И что тогда будет? Впрочем, кривить душой не буду: мужа Машиного я совсем не опасался, и не потому, что я такой уж чересчур крутой и смелый, а потому что уже знал-догадывался – сама Маша его ни на йоту не боится. Мало этого, она его совершенно не любит! Ну, может быть, не совсем совершенно, вернее, совсем не совершенно... Чёрт, короче она его не любит, вот и всё! Между прочим, мне она призналась, что при первой же нашей встрече, в кабинете подполковника Кротких, её как в сердце ударило – я ей лицом напомнил учителя литературы, в которого была она без памяти влюблена первой отчаянной любовью ещё в 8-м классе...

Я должен был, без сомнения, тут же, как только грозный капитан покинул расположение роты, послать свободно-дневального пошустрее в штаб с запиской, я мог бы и позвонить в комитет комсомола части и попросить к телефону для срочного важного разговора завсектором учёта Ключеву,

я мог бы...

Да много чего можно было придумать, дабы поговорить-законтачить с Машей и не попасться на глаза старлею Чернову. Но вместо этого я взял на время у каптёрщика чужие ремень с пилоткой, вместе с личным составом роты вышел за КПП и отправился-побрёл в свой подвал. Конечно, хотелось отмыться под горячим душем после ночи, проведённой в вонючей камере гарнизонной губы, разумеется, надо было забрать пилотку и ремень, само собой, лучше лично объясниться с начальником ЖЭУ и мастером Любой по поводу вчерашнего моего внезапного исчезновения с дежурства...

Однако ж в глубине души я понимал, что первопричина лежит совсем не в этих мелочах, причина кроется в моей странной – с оттенком своеобразного альфонства, что ли? – натуре: мне почему-то страстно хотелось, чтобы Маша поволновалась за меня вдосталь, чтобы опять сама нашла способ со мной встретиться, чтобы она своим волнением за меня, своим желанием меня увидеть, несмотря ни на какие препятствия, доказывала и доказывала, демонстрировала мне свою любовь, в которую я всё ещё боялся верить...

Чёрт его знает, ну невозможно это всё в точности объяснить словами! Я просто ощущал-чувствовал неизъяснимое наслаждение от того, что Маша сейчас волнуется за меня, придумывает, как со мной увидаться, просто думает обо мне, не может не думать. И я предчувствовал-предполагал, какое



в стократ более восторженное наслаждение, какой душевный оргазм (да и телесный – чего уж там!) испытаю я, когда Маша *найдёт* меня, когда мы через некоторое время встретимся.

Право, предвкушение счастья порой хмелит не слабже самого момента счастья.

Но главная глупость человека заключена в том, что он постоянно забывает одну простую истину: не надо гневить Бога! Дальше всё покатилося стремительно и как бы вниз да вниз, к пропасти.

Когда после обеда, плюнув на все свои альфонско-стратегические прожекты, я примчался в часть и снарядил-таки парнишку-дневального в штаб с запиской, он вернулся вскоре с неожиданным известием – комитет ВЛКСМ закрыт. Я звякнул в 3-ю роту, 8-ю, 7-ю... Наконец, комсорг 2-й роты младший сержант Квасов оказался в курсе: Мария Семёнова из сектора учёта – на больничном, у неё, кажись, ребёнок заболел...

На следующий день я полторы смены торчал на лавочке перед ЖКУ— дежурил. Напрасно! Тогда, уже часа в четыре, я повесил на плечо сумку с инструментами, шахтёрский фонарь, в руку для наглядности взял самый большой газовый ключ, пошёл в первый подъезд, поднялся на пятый этаж (Маша обмолвилась, что живёт под крышей), позвонил в квартиру № 17. Открыла древняя бабуса.

– Сантехника вызывали? – уныло спросил я.

– Сантехника не вызывали, – в тон мне печально ответила

старушка.

Из-за дверей соседней квартиры раздавался детский плач. Рука моя дрогнула, звонок получился какой-то сбивчивый. Открыл *он*.

– В чём дело? – голос был раздражён, он пытался по инерции вдеть вторую руку в кольцо подтяжек, обернулся в глубь квартиры: – Это не врач!

– Простите, – робко квакнул я. – Мы опрессовку системы отопления производим – надо воздушные пробки из радиаторов удалить.

– А позже никак нельзя? – поморщился от своего раздражения Ключев.

– А позже никак нельзя! – поморщился от своей наглости я.

– Ну ладно, проходи... Я, впрочем, уйду. Там – жена, покажет...

Он меня, к счастью, не узнал, чертыхаясь, справился наконец с подтяжками, снял с вешалки китель, приладил свои старлейские погоны на плечах, браво выпятил напоследок грудь перед треснувшим по диагонали зеркалом, стремительно вышел. Я хотел бы ненавидеть его, а мне он был почему-то просто-напросто безразличен...

Из проёма комнатной двери на меня во все глаза смотрела Маша. Я её даже сразу не узнал. Лицо её так стремительно меняло выражение, что я совсем растерялся: испуг – удивление – замешательство – досада – обида – боль – раздраже-

ние...

– Ну зачем, зачем ты пришёл *сюда*! – почти вскричала она, запахивая поплотнее махровый халат и пытаясь пригладить рукой растрёпанные волосы.

– Опрессовку... – начал было я, но Маша меня и слушать не стала, тесня к двери.

– Не хочу! Не хочу! Я не хочу, чтобы ты *всё это* видел! Чтобы ты меня *такой* видел!..

И я – ушёл.

## 6

Сын Маши болел две недели.

Мы виделись мельком раза три возле *нашего* дома. Уже золотился-отцветал октябрь. Пора было окончательно что-то решать. Я сам до конца не понимал, что подразумевается под этим «что-то», но я очень хотел уехать из этого опостылевшего закрытого городка, я жутко соскучился по своему родимому селу, по всем своим родным и близким, я страстно мечтал подготовиться и поступить уже в следующем году в Московский университет, но я и не мог представить себе, что смогу расстаться с Машей...

В один из дней я отправился в штаб к замполиту Кротких с заключительным моим выпуском радиогазеты – следующий номер уже готовил мой сменщик, бойкий ефрейтор из

1-й роты. Я постучал, услышал: «Входите!», – набрал воздуха в грудь для доклада и поперхнулся: в кабинете подполковника сидела Маша, абсолютно на том же стуле и в той же позе, как и три месяца тому назад при первой нашей встрече. Я почему-то попятился и выскочил вон.

Едва дождался я, пока она выйдет.

– Маша!..

– Подожди, сейчас я все вопросы с Черновым решу, потом ты ко мне зайди...

– Я не могу к тебе! Мне запретили... Ты ко мне, на третий, в радиогазету...

– Хорошо, хорошо! Через час...

Мысли её были заняты чем-то другим.

Но часа через полтора я действительно держал её в своих объятиях. Мы старались не шуметь – в соседней комнате, через перегородку обитал полковой фотограф, до нас доносился его бодрый свист: он всегда насвистывал, проявляя и просматривая плёнки. Впрочем, вскоре мы о нём совершенно забыли. Я уж думал-боялся, что такое блаженство никогда больше не повторится. Поначалу мы ещё отрывались друг от друга, дабы что-то пробормотать бессвязное или просто взглянуть друг другу в помутневшие глаза, но затем слились-соединились в непрерывном каком-то невероятном, сумасшедшем поцелуе. Мы оба, пристанывали, всхлипывали и задыхались. Маша вдруг нетерпеливо схватила мою руку и сама направила её под свой свитерок, как бы приказывая:

ласкай, ну ласкай же! Язык её, проникая в мой рот, заставлял меня вздрагивать. Движения наши нашли единый ритм, мы целовались и сжимали друг друга в объятиях всё сильнее, всё исступлённее, всё судорожнее...

Вдруг дрожь охватила её тело, она выгнулась раз, другой, как бы стремясь втиснуться в меня без остатка, сдавленно охнула, уткнулась-вжалась лицом мне в плечо, вцепилась зубами, сдерживая стоны, и тут же, когда до меня дошло, *что* случилось, я и сам вдруг почувствовал приближение горячей волны, успел мысленно вскрикнуть: «Боже мой!», – и тут же сознание заволокло-затуманило нестерпимо сладостной болью...

Мы так и стояли, обнявшись, пряча лицо друг в друге, ещё пару минут, приходя в себя.

Чёрт!.. Ни хрена себе!.. Господи!.. Я и не знал, что такое бывает!..

Крышка стола врезалась в крестец. Я шевельнулся, пытаюсь отодвинуться, выпрямиться, потревожил Машу. Она ещё сильнее вжалась в меня лицом, глухо, невнятно что-то произнесла.

– Что? – не понял я.

– У вас есть вода в ванной? – почему-то зло переспросила она, осматриваясь с отвращением вокруг.

– Есть, – виновато ответил я, – но там фотограф снимки промывает...

– А-а! – махнула она раздражённо рукой, поморщилась,

расправляя юбку, и пошла к двери.

– Маша!

– Потом! Завтра!.. Я приду, в это же время...

Впрочем, мне и самому хотелось остаться в одиночестве, придти в себя. Да и, действительно, хотя бы чуть надо было привести себя в порядок – у меня, жеребца стоялого, едва ли в сапогах не хлюпало...

Время после обеда я провёл в страшной суете. Пришлось здорово-таки поторговаться с каптёрщиком Яшей, но, в конце концов, он мне за червонец сдал в аренду матрас, подушку, две почти новые простыни и наволочку. В два приёма мне удалось перетащить-переправить это постельное богатство в свою штабную нору без приключений. Потом я, словно первогодок-салага, вооружившись тряпкой, тщательно отмыл пол, на этом не успокоился – ещё и окно протёр как сумел. Затем взялся решать постельную проблему. Вернее, я бы возвышеннее назвал это – проблему брачного ложа. Сначала я хотел попросить на время ещё один стол у соседа-фотографа и сконструировать-воздвигнуть вполне монументальное сооружение, но, зрело поразмыслив, отказался от этой затеи: во-первых, карабкаться на него будет смешно и не эстетично, а во-вторых, от расспросов фотографа не отобьёшься. Может, просто расстелить матрас вдоль стенки под окном у батареи, да и заправить сразу, загодя, постель?..

Слава Богу, я от этой затеи всё же отказался. Когда Маша на следующий день постучалась ко мне, свёрнутый матрас

лежал на втором стуле в углу, постельное бельё белело на нём, скромно на что-то намекая.

Впрочем, какие, к чёрту, намёки! У меня тут же, выражаясь словами из дебильного анекдота, матка опустилась: Маша была не одна – первым в комнату делово шагнул какой-то мужик! Мужик был ростом с метр и очень бойкий. Он вскинул растопыренную ладошку к пилотке и доложил:

– Павлик! Мне уже четыре года!

Сама Маша была в плаще, тёмном брючном костюме, деловая и строгая, несмотря на некоторое смущение.

– Вот, попрощаться зашли...

– Как попрощаться? – я понимал, что надо бы спрашивать надрывнее и волноваться, но был почему-то необыкновенно сонлив. Я словно как предчувствовал нечто подобное.

– Да я ведь расчёт получила. Уволилась.

– Не может быть... – вяло удивился я.

– Да, может! Я правда ухожу! Вчера и Чернов, и Кротких, и командир части заявление моё подписали... Ты что не веришь? – чувствовалось, она заранее приготовилась к взрыву с моей стороны и теперь никак не могла найти нужный тон.

– Верю. И куда же теперь? – собственное спокойствие меня поражало.

– Во «Фрегат», официанткой.

В этом дурацком степном городе, стоящем за тыщи вёрст от ближайшего водоёма, единственный кабаk назывался почему-то «Фрегатом».

– Во «Фрегат» официанткой? – меня явно заклинило.

Маша глянула – Павлик сосредоточенно осматривал-изучал радиоаппаратуру в углу.

– Я не могу, не могу, мне осточертело! Понимаешь? – она пыталась изо всех сил говорить тихо, сквозь зубы. – Надое-ло получать восемьдесят рублей в месяц, надоело ходить на каблуках по плацу, надоели эти голодные солдатские рожи вокруг – хожу как голая...

– «Солдатские рожи» – это про меня?

– Да нет, конечно! Перестань!.. Да и с тобой... Не могу я вот так, понимаешь? Я хочу, чтобы красиво всё было, чисто... Да и ты всё равно совсем скоро уедешь... Ни к чему всё это...

Она вдруг положила руки мне на плечи, помедлила чуть, вглядываясь и словно ожидая, что я оттолкну её, и поцеловала – сильно, долго, мучительно. Я на поцелуй не ответил.

– А я папке расскажу! – крикнул младший Ключев.

Я повернулся к нему, чтобы урезонить, но из-за плотного тумана в глазах никак не мог увидеть-разглядеть его лицо. Да и – к чему?

*Ни к чему всё это!*

Ни-к-че-му!..



Прошло ужасно много лет.

Самая последняя наша с Машей встреча, сцена нашего *окончательного* прощания помнится смутно. Через две недели я получил обходняк. В последний вечер перед уездом домой достал цивильные шмотки, переоделся и припёрся в ресторан «Фрегат». Я уже заранее принял «сто грамм для храбрости», а в кабаке с первых же минут взялся глотать армянский коньяк через меру (тогда он был натуральным и крепким), перешвырял чуть ли не все дорожные деньги в шапку оркестрантам, заказывая песни для «замечательной девушки Маши»...

А потом я объяснялся ей в любви – в заблёванном дворе ресторана под свист ноябрьского ветра... Я чуть ли не бился головой о какую-то колоду для рубки мяса и клялся-обещал вернуться в этот забайкальский городишко (только вот на родину краем глаза гляну, одним только краешком!)... И ещё помню, как в самый наипоследнейший-распоследний раз поцеловал Машу прыгающими от горя, от пьяных рыданий губами...

С тех пор я её не видел. И – слава Богу! Сейчас ей уже под пятьдесят, я не знаю, какая она теперь. И – знать не хочу! Для меня она осталась *прежней*: распушенные по плечам слегка волнистые светлые волосы, большие тёмные гла-

за, аристократическое тонкое лицо с чуть резковато очерченными скулами, стройная, даже, можно сказать, сухощавая фигура под светло-палевым открытым платьем, необыкновенно длинные ноги в прозрачном капроне – вся какая-то необыкновенная, из *другого* мира... Вот такой я её помню, такой я её люблю. И я – счастлив!

Потому что жизнь – это воспоминания...

*/2001/*

# ФЕВРАЛЬ

## *Рассказ*

Разбудил его телефонный звонок.

Для субботнего утра – в несусветную рань: было начало восьмого. А он только-только, всего пару часов тому, и задремал, рассчитывая не возвращаться в этот мир хотя бы часов до десяти. Надо бы раздражиться и чертыхнуться, но тут же волну поднимающейся злобы заглушил, накрыл собой вал жгучей всепоглощающей тоски. Он, не открывая глаз, провёл рукой рядом с собой – пусто...

Лучше б не просыпаться!

Телефон не умолкал. Он на ощупь дотянулся до трубки, лежащей рядом с изголовьем на стуле, нажал кнопку приёма. Штырь антенны упёрся в подушку, мешал прижать телефон к уху. Но слышно было хорошо:

– Алексей Алексеевич? Это соседка сверху, Полина Иннокентьевна! Ну опять же трубы в ванной дребезжат! Вы что, не слышите? Я звоню, звоню в жилконтору, но они меня и слушать не хотят! Конечно, кто будет пенсионерку слушать! Алексей Алексеевич, вы обязаны позвонить! Вы должны надавить на них – с вашим-то авторитетом! У меня голова болит от этого дребезжания!..

Стараясь говорить тихо, пообещал:

– Хорошо, Полина Иннокентьевна, я позвоню, не волнуйтесь...

Отключил трубку, вяло подумал: «Да-а-а, мне бы ваши заботы...»

И вдруг, как это бывало с ним не раз в последнее время, он спохватился, как бы очнулся, вынырнул на поверхность из омута депрессуки и апатии.

Да что ж это я, как старик, ей-Богу?!

Он распахнул решительно глаза, энергично, совсем как в детстве, растёр их кулаками, потянулся до хруста в суставах, на миг прильнул лицом к соседней подушке, вдыхая родной волнующий запах, откинул одеяло и прямо так, голышом, проскользнул на кухню. В прихожей, увидев своё отражение в зеркале, ухмыльнулся – иронически, но и не без самодовольства: конечно, голый пятидесяти-почти-что-трёхлетний мужик со своим «сбоку бантиком» на фоне холодильника сам по себе фигура комическая, но в принципе ему стесняться пока ещё нечего – выглядит вполне *рентабельно*...

Ещё бы! Ведь не только же за мозги полюбила его Алинка – идиота старого, обогнавшего её по жизни без малого на тридцать лет...

Стараясь ненароком не звякнуть, поставил чайник на конфорку, включил газ, приготовил чайные бокалы: в Алинкин положил пакетик с её любимым зелёным, в свой – пару ложечек кофе и сахар. Пока чайник закипал – стоял, думал.

Ссора накануне вечером возникла, как это и бывает, из-за

ничего, из-за полного пустяка. Ну никак ему не удаётся обуздать ревность, перестать выплёскивать свою дурацкую подозрительность. Увидел на её страничке на «Стихире» среди откликов глупое послание всё от того же Замзуева из Москвы (*«Привет, Алинка! Спасибо за поздравление с Днём Святого Валентина и за виртуальный поцелуй! И тебя целую! О последних твоих стихах сброшу впечатления на мыло – жди...»*), а ему страшно не нравилось, что она общается-целуется с мужиками хотя бы и в Инете.

Ведь обещала же, клялась: больше не будет!..

Кончилось тем, что его же виноватым сделала, соскочила с постели, ушла в другую комнату, затихла там. Дверь, правда, оставила открытой настежь (он вставал ночью специально, посмотрел), но на его призывы вернуться, помириться даже не пожелала нужным отвечать-реагировать...

Глупо всё это, конечно! С его стороны. Нашел тоже, к кому ревновать: к охламону стихоплётствующему из Интернета...

Уж наревноваться должен был досыта. Из трёх лет их *общей* с Алиной жизни только первые полгода были в этом плане почти совсем безоблачны. Он был ещё женат прежним браком, виделись они урывками и тайком, но он знал буквально каждую минуту её жизни, каждый шаг – она сама и по телефону, и в мэйлах, а при встречах тем более подробно, охотно и с радостной готовностью докладывала ему, объясняла: где была, с кем, что делала, о чём говорила...

Ему смешно было сейчас вспоминать, как однажды он приревновал её к мальчишке в соседнем Будённовске, куда они ездили вместе на литературный вечер, и она этому мальчишке начала, порозовев от радости и, как ему почудилось-помнилось, от возбуждения, подписывать свой сборник стихов, диктовать ему свой телефон... Он тогда, на обратном пути в микроавтобусе, где, кроме них, были ещё люди, объявил ей свистящим шёпотом, что она вела себя как кокетка (словцо-то какое выкопал!), что всё и вся между ними кончено, что он больше видеть и знать её не желает... Она, всерьёз побледнев, вцепилась ему в рукав куртки (был тоже февраль, чуть ли не это же, 18-е, число!) и дрожащим от слёз голосом умоляла: перестань, не убивай меня, я без тебя жить не смогу!.. Потом они весь оставшийся вечер не могли оторваться друг от друга, губы их распухли от поцелуев, объявления были неистовы, клятвы и признания горячи...

А потом, когда наступило страшное время борьбы с Судьбой, когда она решила, что им вместе не быть, что они не пара друг другу и им лучше расстаться сразу и резко, ему довелось в полной мере нахлебаться горького зелья ревности. Алинка (его Алинка!) начала таскаться-путаться с какими-то сусликами, трахаться с ними, порой даже не ночуя дома, а он звонил ей домой, раздражая родителей, искал...

С одним из пацанчиков она даже съездила летом на юг, фантаσμαгорично и жестоко осуществив их зимнюю совместную мечту...

Причём так уж сразу и полностью они расстаться, порвать отношения не смогли, порой даже оказывались в общей постели, и она имела жестокость выбалтывать ему подробности своих адюльтеров-похождений, вплоть до самых интимных — каким способом совокуплялась с очередным сусликом, сколько раз...

Словно мстила ему же за своё предательство его, их любви...

Чайник начал свистеть, он еле успел выключить газ, приглушить свист. Налил кипяток в оба бокала, поставил их на жостовский поднос, достал из аптечки на стене таблетку валидола (за «Орбитом» с мятой возвращаться в комнату не хотелось), пососал, держа поднос на вытянутых руках и накинув для юмора полотенце на руку, придал лицу соответствующее выражение влюблённого официанта и отправился в маленькую комнату.

Там его взору в свете вызревающего солнечного утра предстала иллюстрация к стихам Ивана Алексеевича Бунина:

*Она лежала на спине,  
Нагие раздвоивши груди,  
И тихо, как вода в сосуде,  
Стояла жизнь её во сне...*

Он даже запнулся, застыл на секунду. Боже мой! От любви и нежности хотелось плакать...

Осторожно поставив поднос на подоконник, он нагнулся, прильнул ртом к её детским губам, чмокнул и тут же скользнул вниз, накрыл поцелуем левую грудь, прикусил легонько зубами тут же откликнувшийся на ласку, напрягшийся розовый бутончик. Она распахнула глаза, улыбнулась счастливо, обвила его голову руками, прижала к своему телу, капризно протянула:

– Ты чего?

– Чего, чего! – пробормотал приглушённо он, не поднимая лица. – Мириться пришёл, вот чего! Чай бушь?

– Бушь, бушь! – рассмеялась она. – Только позже... Иди ко мне!

Он поднял глаза. По утрам она вообще всегда была особенно прекрасна, а уж когда смеялась-улыбалась!.. Он отбросил одеяло, схватил её на руки, прижал неистово к себе.

– Пошли туда, там – лучше!..

В большой комнате он осторожно и медленно, хотя весь уже дрожал от возбуждения, уложил её на широкую супружескую постель, навис над ней, чувственно и нежно покрыл поцелуями лицо, шею, груди и, не в силах больше сдерживаться, медленно, осторожно вошёл в неё, не отрывая взгляда от лица. Она вся напряглась, выгнулась навстречу ему, приняла в себя до конца и блаженно простонала – и раз, и второй...

Он нашёл в себе какие-то сверхъестественные силы, чтобы сдержать взрыв, отдалить момент потери сознания, про-



длитель это невероятное состояние *физического счастья*...

Когда-то, в те первые полгода их общей жизни, он находил неимоверное наслаждение во всё новых и новых «постельных приключениях», стремясь испытать с этой юной девочкой совсем из другого, *раскованного*, поколения все нюансы чувственных утех вплоть до самых, казалось бы, извращённых, и она с охотой шла навстречу всем его желаниям. Но вот теперь, когда стала она его законной женой перед Богом и людьми, ничего прекраснее для него не было вот такой пылкой *классической* близости (особенно утром и после ссоры) – естественной, красивой и в чём-то целомудренной.

Она с отчаянным стоном подалась ему навстречу, прижалась неистово лоном, он почувствовал-ощутил, как её захлестнула волна сладких судорог, и сам в тот же миг поплыл-забарахтался в водовороте неистового наслаждения...

Спустя четверть часа Алина после затихающих объятий и не очень связного разговора об обидах-прощениях уткнулась лицом ему в плечо и начала тихонько посапывать, изредка шевеля и по-детски причмокивая во сне губёшками. Ещё бы! С вечера наплакалась, тоже полночи не спала. Он легко прижимал любимую к себе, нежно перебирал пальцами высветленные прядки её мальчишеской причёски и думал-размышлял о предстоящем дне.

Часа через два они поднимутся, позавтракают. Скорей всего – вот так, голышом (и он, и она были по натуре нудистами). Потом, вероятно, поработают до обеда. Он будет за

столом на компьютере компоновать окончательно главы своей новой книги о Достоевском – в издательство надо её переслать уже через пару недель. Алинка в затемнённых компьютерных очках, делающих её взрослой и трогательно-серьёзной, устроится на диване с ноутбуком, прикусив от напряжения и важности дела губу, будет настукивать предисловие к сборнику поэзии молодых, который ей поручили составить и подготовить к изданию.

Время от времени она, несмотря на запрет, станет окликать его и просить послушать на слух ту или иную фразу – так ли? Так, так – будет успокаивать он, не кривя душой: она была очень талантлива и писала, дай Бог каждому! Интересно, что с ней, его девочкой, будет годам к сорока? Наверняка из неё вырастет новая Франсуаза Саган или Марина Цветаева...

Увы, ему никогда этого не узнать – вдруг соскользнул он в затягивающийся омут ненужных мыслей. И как же он благодарен ей за то, что она подарила ему кусочек своей жизни-судьбы, продлив тем самым его молодость!

Он приподнял голову, повернулся к ней, спящей, опять ощутил сладкую истому от неизбывности её юной красоты. В окно даже сквозь шторы неистово и неудержимо пробивалось первое за последние две недели февральское солнце, освещая тонкую прозрачную кожу любимой. Он бережно провёл пальцами по её щеке, губам, словно пытаясь запомнить родимый облик, откинулся навзничь и закрыл глаза, за-

жимая подступающие горячие и совсем ненужные слёзы...

Сколько же продлится это счастье?

Господи, только б подольше!

За окном стоял февраль, вторая половина. Для кого-то – конец зимы; для кого-то – начало-предвестье весны и бесконечного лета.

*/2006/*

# СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ

## *Новелла*

Большинство людей не знают дату своей смерти. И слава Богу!

Александр Павлович Словакин знал. Вернее, он сам эту дату и определил-назначил – пятница 29 января 2010 года. И речь-то, в общем, не о суициде, нет, просто Александр Павлович хотел, мечтал, подгадывал и стремился завершить путь земной именно в этот знаменательный день и неистово верил, что именно так и произойдёт-случится. А, как известно, неистовая вера творит порой чудеса.

Чуть менее чем через полгода, а именно 15 июля, ему стукнуло бы пятьдесят – славный для писателя рубеж, но он даже этот соблазн отринул: важнее показалось подгадать под другой, более значимый и эпохальный юбилей...

Вообще с этими датами-цифрой, старым и новым стилями, на первый взгляд, возникала какая-то *тарарабумбия*, но Александр Павлович столь многое в своей *idée fixe*<sup>1</sup> притянул за уши и пришил белыми нитками, что на мелкие несоответствия-несуразности с датами можно было и не обращать внимания...

---

<sup>1</sup> *idée fixe* (фр.) – навязчивая идея.



Всё началось лет двадцать назад, когда у молодого провинциального учителя и по совместительству подающего большие надежды писателя Александра Словакина началась столичная часть судьбы.

До этого в родном своём Баранове напечатали несколько его рассказов в областных газетах, пробился он пару раз в региональный «Подъём», тиснули его повесть в коллективном сборнике «Молодая проза Черноземья». И вот на волне первых успехов он сперва попал на какое-то тогда ещё Всесоюзное совещание молодых, где его без проволочек втащили-приняли в Союз писателей тогда ещё СССР. Потом его опубликовал престижный «Наш современник». И тут же (ну попёрло!) ему удалось поступить на Высшие литературные курсы при Литинституте и, проучившись два года, зацепиться в Москве – устроился редактором в только что родившееся книжное издательство «Голос», основал которое его земляк и в котором незадолго до того сотысячным тиражом вышел первый сборник повестей и рассказов Александра.

Вот в те-то благословенные опьяняющие дни первых литературных успехов, во время бурных застолий в общаге Литинститута или в Пёстром зале ЦДЛ, когда кто-либо из подпивших приятелей-пиитов по сложившейся вековой традиции кричал ему в глаза, мол, Сашка, ты *тоже* гений, он все-

рьёз и начал задумываться над этой проблемой. Поначалу и он дарил-разбрасывал «гениев» направо и налево и вполне искренне. Ну как можно смолчать, если твой осоловевший сотоварищ только что прокричал-провыл слезливым голосом свою очередную нетленку, всего тебя обрызгав пьяной слюной, ждёт взасос адекватного отклика-суждения, а перед этим уже сам одарил тебя «гением»?

Однажды в одной умной книжке Александр вычитал, что во все времена и во всём мире писатели чётко делились на четыре класса, четыре разряда, четыре степени, четыре уровня, четыре титула, четыре звания, четыре сорта – всего че-ты-ре: гении, таланты, профессионалы и графоманы. Всё! Для примера ранжировались имена из русской словесности:

- 1) Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Булгаков...
- 2) Некрасов, Лесков, Писемский, Куприн, Шолохов...
- 3) Баратынский, Булгарин, Крестовский, Вересаев, Леонов...
- 4) Хвостов, Боборыкин, Бедный, Ананьев, Донцова...

Поразмыслив на трезвую во всех смыслах голову, Словакин поначалу решил записать себя в третий разряд, в профессионалы. В последний – четвёртый – ряд, само собой, не очень-то хотелось, хотя, если поразмыслить, любой разряд, любой ранг в литературе уже почётен. Главное, ты уже имеешь основное и ключевое звание-титул – *писатель*. Однако ж, хотелось-желалось повыше.

И тут Александр ещё более трезво размыслил: так ведь окончательный итог деятельности и, соответственно, ранг-величие писателя определяется вовсе не при жизни и даже, зачастую, далеко не сразу после смерти. Ну а на перспективу, если поставить цель и хорошенько потрудиться на ниве российской словесности, то можно замахнуться и на ступеньку повыше. Почему бы, например, не занять место рядом с тёзкой – Александром Ивановичем Куприным?

Определившись, Александр Павлович и взялся в разговорах, когда дело доходило до пьяной раздачи «гениев», то и дело обранивать: мол, никакой он, конечно, не гений, не Толстой и не Достоевский – дай Бог, уровня автора «Поединка», «Олеси» и «Гранатового браслета» достичь...

А дела его писательские между тем шли в гору. Тогда, в лихие девяностые, когда вся страна превратилась в *криминал-шоу*, его рассказы, повести и романы, круто замешанные на остром сюжете и наполненные социально-кровавой реальностью, быстро находили своего издателя и читателя. В «Голосе» одна за другой вышли ещё две книги, а затем, когда в родном издательстве начался кризис и уже стоящий в плане роман-эпопея «Бомж» застрял, Словакин предложил его крупнейшему российскому издательскому холдингу «АСТ», и книга вышла там. Ещё несколько рассказов и повестей проскочило в журналах. Больше того, первую его книгу перевели и издали в Польше, Черногории, Болгарии...

Короче, фундамент для желанного титула «Куприн наших

дней» создавался-строился вполне успешно. Да уже, можно сказать, и был создан, как вдруг тихой сапой в бурлящей российской литературе появился ещё один провинциал, почти что земляк и хороший знакомец Словакина – Слава Дёгтев из Воронежа. Сначала он набузил в своей чернозёмной столице – произвёл переворот в замшелом журнале «Подъём», став там на какое-то время главным редактором, затем выступил в «ЛитРоссии» с каким-то революционным манифестом от имени молодых писателей, его энергичные рассказы начали нарасхват печатать в столичных изданиях, а критики, да и сам Вячеслав в интервью, всё чаще взялись сопрягать фамилию Дёгтев с фамилией Куприн: мол, Дёгтев – это Куприн сегодня!

Словакин начал было сокрушаться по этому поводу, но быстро вспомнил старую истину: всё что ни делается – к лучшему. Тем более, что в жизни-судьбе его именно в этот период, на рубеже веков, стряслись кардинальные перемены. Он снова женился и, главное, – бросил пить.

Первое произошло случайно. Прежнюю жену-училку Словакин оставил в Баранове и никогда об этом не жалел – сошлись они по молодости, по глупости, когда оба учились в пединституте: любви горячей не испытали, детей, слава Богу, не нажили...

Александр решил-наметил больше не связывать себя узами брака, довольствовался случайными подружками, тем более, что для стабильных серьёзных отношений и условий не



было – он снимал замызганную квартирёнку в Зеленограде, куда приличную женщину и пригласить было зазорно.

И вот теперь судьба одарила его встречей с Олей, Ольгой Леонидовной, к тому времени уже вполне зрелой женщиной 32-х лет. Вернее, как одарила? Самое прикольное, что они работали бок о бок почти десять лет – в издательстве «Голос». Когда коллектив ещё был большим, пути их как-то не пересекались, хотя кой с какими бойкими издательскими девчонками холостяк Словакин интрижки крутил. Ольга успела за это время и замуж сходить, и развестись, и теперь проживала одна в двухкомнатной квартире на Добролюбова – совсем рядышком с общагой Литинститута. Так что когда Александр взялся провожать Ольгу до дома – места оказались ему родные и близкие.

А началось всё у них, как и водится, случайно. В издательстве к этому времени осталось вместе с директором-основателем всего пять человек, но пока крутились-выживали. И не унывали. Как и в прежние времена частенько трудовой круговертный день завершали корпоративной пьянкой-гулянкой – то праздник какой, то автор изданной книги поляну накрыл, то день рождения чей-то случился. Вот после одного из таких застолий Александр и проснулся утром в незнакомой постели под незнакомой люстрой. Как оказалось – на Добролюбова.

Поначалу Словакин решил было отнестись к этому как к очередному секс-приключению, тем более, что об Ольге ре-

шительно ничего нельзя было сказать, кроме того, что она пухленькая и не безобразная. Но, к искреннему своему удивлению, он вновь оказался в постели пухлявой Оли через неделю...

И – пошло-поехало, пока не завершилось походом в загс и переездом Александра Павловича из Зеленограда в Северо-Восточный административный округ города Москвы.

С первой женой у Словакина дети как-то не получались. Впрочем, поначалу, ещё студентами, они полстипендии тратили на презервативы, а потом, когда последние всплески чувств угасли, перспективы чадорождения сами собой отпали-испарились. С Ольгой они сразу решили как можно быстрее зачать хотя бы одного наследника, но как ни старались, потев в постельных сладостных трудах до изнеможения, результатов не было. Кинулись в конце концов по врачам – диагноз-вердикт поверг Александра в уныние: бесплоден он. Правда, один врач, совмещающий в своей лечебной практике последние достижения медицины и дремучее знахарство, взялся помочь беде, но сразу и жёстко поставил условие: бросить пить и курить немедленно.

Это удивительно как совпало с желанием самого Словакина. Курить он бросил ещё за три года до того, переболев жёстчайшим воспалением лёгких, да и с питием уже пытался завязать несколько раз всерьёз: прошёл через общество анонимных алкоголиков, пил какие-то специальные чаи и даже подшивался – увы, самое большее выдерживал полгода. А

пьянки здорово-таки мешали главному и основному в жизни – творчеству.

Словакин принадлежал к тому подавляющему меньшинству сочинителей, кои, выпив хотя бы кружку пива, не говоря о чём-либо покрепче, творить уже не могли. Так что кружка пива или полстакана водки стоили двух-трёх страниц нового текста, а уж загул на неделю, две, а то и три (что стало случаться с Александром всё чаще) перечёркивал на хрен целый рассказ, а то и повесть. А чего стоят кошмарные ночёвки в вытрезвителе (сподобился раза три-четыре!), пьяные семейные скандалы, похмельные конфликты на работе, всё возрастающие проблемы со здоровьем. А сколько уже знакомцев-ровесников сгинуло по пьяной дури, отправилось на тот свет раньше срока, так и не протрезвев...

Нет, завязывать давно уже было пора!

Этот же доктор-знахарь пообещал вначале отрезвить Александра с гарантией не менее чем на десять лет по уникальному методу «двойной замок», затем вернуть ему радость отцовства, и за всё про всё надо выложить всего-то чуть более полутора тонн зелени, в переводе на российские – пятьдесят тысяч рублей. Наскребли, заплатили. С завязкой питания помогло – как отрезало. С завязью нового плода – не очень. Правда, Ольга раза два беременела, но дело заканчивалось выкидышем на ранней стадии...

Впрочем, вскоре мечты о ребёнке-наследнике, по крайней мере у Александра, сошли на нет, сгинули. Когда ему

исполнилось сорок четыре, какая-то цепь судьбоносная замкнулась, и окончательно в голове его сформировалась-высветилась вот эта его *idée fixe*, которая заполнила без остатка все оставшиеся годы жизни и определила-сформировала финальную сцену судьбы. Именно в сорок четыре, зацепившись за возрастную аналогию с судьбой Антона Павловича Чехова, писатель Александр Павлович Словакин начал размаывать (или, наоборот, наматывать) клубок совпадений-подсказок, точек соприкосновения между ним и автором «Вишнёвого сада».

Не говоря уж о полном совпадении отчеств, ведь и фамилии явно перекликались – где Чехия, там рядышком, бок о бок и Словакия. Мало этого, но они ведь и, можно сказать, настоящие земляки: отец Чехова выходец из Воронежской губернии, мать и вовсе из тамбовского Моршанска. Оба, и Словакин и Чехов, в Москву перебрались из самой что ни на есть российской глубинки. Оба начинали с юмористики и всерьёз публиковаться начали в 20 лет. Да даже через жён какая-то перекличка аюкалась: обе на восемь лет моложе своих мужей; одна Ольга Леонардовна, вторая – Ольга Леонидовна. Да и детей-наследников в обеих семьях нет...

Понятно, что все эти поиски аналогий-сходств поначалу носили несколько шутейный характер. Тем более, что Словакин хотя и знал творчество Чехова на уровне студента-филолога, но близким себе по духу писателем его не считал: ему роднее были Достоевский, Толстой, Булгаков... В своё

время ещё и неудачные постановки «Чайки», «Дяди Вани» и «Вишнёвого сада», на которых довелось ему подряд побывать, отвратили его от Чехова-драматурга. Но вот теперь он разыскал в своей домашней библиотеке пару томиков прозы Чехова, проглотил залпом, тут же пробежался по букинистическим отделам книжных магазинов и отыскал-купил академический 30-томник Чехова издания 1980-х. Стоил он пустяки по нынешним временам, всего-то три тыщи, но и выглядел соответственно: сверху голубенький коленкор обложек с полустёршейся позолотой букв, внутри плохо пропечатанный текст на пожелтевшей газетной бумаге – типичное советское массовое издание.

Он прочёл-впитал тридцать томов от первой до последней буквы – с предисловиями, вариантами, комментариями и примечаниями. Магия чеховской прозы не совсем была ясна Словакину. Некоторые вещи («Дом с мезонином», «Скучная история», «Дуэль», «Дама с собачкой»...) буквально сбивали ритм его сердца, и он долго ещё ходил после прочтения потрясённый, качая от упоения головой и сам с собой разговаривая. Пытаясь хоть как-то определить своеобычность внешне простой прозы Чехова, он сформулировал это так: можно спародировать стиль-письмо Достоевского, Толстого и даже Бунина, а вот Чехова – и пытаться нечего!

Естественно, следом за собранием сочинений Словакин проглотил ещё и несколько биографических книг об Антоне Павловиче. Он буквально заболел Чеховым! И всё чаще, всё

настойчивее размышлял о вероятности-возможности реинкарнации. А что, почему бы и нет? Чехов родился в 1860-м, а ровно через век – он, Словакин. Более того, родился именно 15 июля, в день, когда Антон Павлович из жизни ушёл. И пусть по старому стилю это было 2-е число – сама дата, 15 июля, засветившаяся в биографиях обоих, красноречива и важна. Тогда же у Александра и мерцнула мысль: а что, если б ему было суждено уйти из жизни, скажем, 15 июля, именно в день ухода Антона Павловича и свой день рождения? Или, ещё лучше и сопряжённое, – 29 января, в день его рождения? И, само собой, тогда же начал и зарождаться-оформляться сценарий финальных минут: мол, хорошо бы уйти из этой жизни не случайно и внезапно в результате несчастного случая или от банального инфаркта, а торжественно и сценично как Чехов – произнести-выдохнуть на немецком «Ich sterbe...»<sup>2</sup> (хоть врач рядом будет и русский), выпить бокал шампанского, взглянуть последний раз на плачущую жену и, отвернувшись к стене, утихнуть навсегда...

Смущали Словакина в зарождающейся мечте два обстоятельства. Первое: он уже достиг возраста Антона Павловича, но умирать пока вроде не собирался – наоборот, после нескольких лет трезвости организм его начал работать как часы, он явно помолодел и встряхнулся. А второе: проведя ревизию всего им написанного, Александр Павлович обнаружил, что выдал к своим сорока четырём годам всего то-

---

<sup>2</sup> «Ich sterbe...» (нем.) – «Я умираю...»

мов 15, из которых издано было только 11, так что о 30-томнике пока оставалось только мечтать. Причём, четыре готовых к изданию книги (два романа и два сборника повестей и рассказов) застряли напрочь: свой родной «Голос» теперь издавал авторов только за их счёт или на деньги спонсоров, а крупные коммерческие издательства вроде «АСТ» или «Эксмо» *такую* прозу, созданную, скажем так, в русле русского классического реализма, отметили начисто.

Впрочем, мечтать и расстраиваться Словакин не стал, а поставил перед собою чёткую сверхзадачу: работать на будущее (ведь не вечно же этот коммерческий хаос-беспредел будет длиться и в жизни, и в литературе!) – упереться рогом и выдать на гора собрание своих сочинений аналогичное чеховскому. Причём, 30-томник в полном смысле слова – в виде готовых оригинал-макетов с предисловиями и комментариями к каждому тому. Таким образом, его грандиозный план-проект сложился из двух составляющих – творческой и технической. Созидательной компоненте он решил посвящать вечера и выходные; производственно-технической – рабочие дни.

В «Голосе» он уже давно помимо редакторской практики занимался макетами и даже оформлением, так что проблем с этим не возникло. Теперь он быстренько лепил в Adobe PageMaker очередной издательский макет-заказ, а в оставшееся время в той же программе строил-творил макет очередного тома своего ПСС. Всё делалось профессионально:

на обороте титула указывались и ББК, и УДК, и даже ISBN (правда, на всех томах один и тот же – Словакин взял его со своей книги, вышедшей в «АСТ»), и авторский знак, и копирайт; каждый том открывался фотопортретом автора соответствующего возраста; в примечаниях подробно рассказывалось, когда и где было создано произведение, где впервые опубликовано, комментировались отдельные слова и выражения, могущие быть непонятными для будущих гипотетических читателей.<sup>3</sup>

Если техническая часть проекта претворялась в жизнь методично и без помех, то созидательно-творческая осуществлялась медленнее, чем хотелось бы. Словакин был писателем старой формации, то есть творил медленно, мучительно – не постранично, а пофразно, пословно и даже побуквенно. Черновики к 600-страничному роману «Бомж» занимали четыре толстенных папки – более 3000 страниц: дважды переписывал всё от руки и дважды на пишмашинке... Почти два года работы! И теперь, хоть он и шагал в ногу со временем, в последние годы писал-выдавал текст сразу на компьютере, однако ж процесс от этого убыстрился мало. Так же по

---

<sup>3</sup> Например, некоторые примечания к тому с романом «Бомж» выглядели так: С. 9. *Тугрик* – денежная единица Монголии. В Сибири широко употребляется это слово как синоним рубля, так как, что тугрики, что рубли – из одного дерева напилены, разницы никакой. С. 24. *Уже на красный день 7-е ноября...* – При советской власти 7-го ноября праздновали годовщины так называемой Великой Октябрьской Социалистической (всё – с большой буквы) революции. Неизвестно по какой причине празднично-выходным был и день 8 ноября. Видать – для официальной опохмелки... Ну и т. д.



три-четыре раза, надсаживая глаза, перелопачивал текст на экране, затем черкал-правил одну распечатку, вторую, а то и третью, пока не признавал работу законченной.

Такими темпами, уж разумеется, тридцатитомник выдашь не скоро. Если вообще выдашь. Необходимо было кардинально менять методы творчества. Понятно, что при любых усилиях за той же Дарьей Донцовой не угнаться: 10-12 «романов» в год – это из области сказок или анекдотов. Но вот на самого Антона Павловича Чехова равняться следовало: ведь он в расцвете сил как раз выдавал в год не менее чем по увесистому тому прозы. А когда Словакин потщательнее просчитал-увидел ситуацию, то замысел и вовсе стал казаться вполне доступным. Ведь проза и драматургия в собрании сочинений Чехова занимают всего 18 томов, так что ещё тома два повестей и рассказов, да том пьес (а наброски двух-трёх комедий и одной драмы уже давно лежат в столе) сочинить очень даже реально, ну а на остальные тома наберёт и досочинит статей, интервью, рецензий, писем...

\* \* \*

Утром 29 января 2010-го последние сомнения Александра Павловича оставили: он предчувствовал, он знал, что сегодня, ближе к вечеру, *это* произойдёт-свершится. Это будет так символично: Антон Павлович ушёл из жизни в день его рождения, не дожив до 45-летнего юбилея полгода;

он, Александр Павлович, окончит земной путь в грандиозно-юбилейный день рождения Чехова, не дожив до собственного 50-летия тоже почти шесть месяцев...

За эти пять лет напряжённейшего изнурительного труда организм Словакина окончательно надорвался-сдал. Он потерял более двадцати килограммов веса, обтянулся сухой кожей, был бледен, как сама смерть – сказались и дурное питание (до еды ли было!), и согбенное непрерывное бдение за монитором, и недостаток свежего воздуха (в последний год он бросил работу и вообще не выходил из дома), и злоупотребление снотворными таблетками. Сомнений у него не оставалось: он непреложно, как какой-нибудь пустынный старец, умрёт-истает в назначенный самим собой час. В мыслях почему-то то и дело мерцало: «Дёгтев вон в сорок пять умер...» Впрочем, он тут же себя встряхивал: да, Слава Дёгтев хоть и умер практически в самом что ни на есть чеховском (а не купринском!) возрасте, но здоровяком – трагически и внезапно, от обширного инсульта...

Утром Ольга Леонидовна привезла последний том собрания сочинений. В знакомой типографии за вполне умеренную плату одели-оформили все 30 макетов в настоящие переплёты – тёмно-синего цвета с золотым тиснением букв на корешках: «А. П. Словакин. Полное собрание сочинений».

Александр Павлович уже три дня, завершив окончательную распечатку последнего макета, не вставал с дивана, где спал в последние годы. Не встал с постели и теперь. Над

диваном на стене висел под стеклом большой фотопортрет А. П. Чехова – его безмолвный собеседник в бессонные ночи. Жена, уже давно уставшая спорить с упорными причудами своего свихнувшегося мужа, принесла по его просьбе тазик с водой, помогла ему умыться, надеть свежую белую рубашку и оставила одного. До самого вечера Словакин брал один за другим томики своего ПСС, гладил переплёты, перелистывал, прочитывал абзац, страницу, а то и весь рассказ или главу романа, плакал...

В шесть часов, когда за окном окончательно стемнело, он сам себе сказал: «Пора!» и позвал Ольгу Леонидовну. Она, прекрасно зная сценарий, с лёгким ворчанием внесла на подносе бутылку шампанского (самое дорогущее – 2900 рублей бутылка!) и бокал с высокой ножкой. Врача на этот момент Александр Павлович уже давно решил не вызывать (ещё откачает в последний момент!), так что ждать было больше некого и нечего, пора было приступить к финальному действию.

Ольга Леонидовна долго возюкалась с бутылкой, еле открыла, пролив половину вина на палас, наполнила бокал. Поглядела сквозь бутылку на свет, наверняка решила, что потом допьёт, подала шипящий бокал мужу. Он трясущейся то ли от слабости, то ли от волнения рукой взял, чуть расплескав, перекрестился, взглянул заслезившимися глазами сначала на портрет Чехова, потом на жену и обречённо выдохнул:

– Ихъ штербе...

Залпом выпил весь бокал, закашлялся, вытер рукавом рубашки рот и убедительно выдавил оставшиеся от сценария слова:

– Давно я не пил шампанского...

Затем отвернулся к спинке дивана и – затих.

И вот в этот момент Ольге Леонидовне наконец-то стало по-настоящему страшно...

\* \* \*

В субботу 30 января в нижнем буфете ЦДЛ некоторые завсегдатаи с удивлением узнавали в худом и безобразно пьяном человеке писателя Словакина. В его хмельном бормотании можно было разобрать что-то про «десять лет ни капли в рот не брал», «Антону Павловичу сто пятьдесят лет» и «тридцать томов»...

Зрелище было довольно жалкое.

*/2010/*

# ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПИТ

## *Повесть*

### 1

Гроссман, Иосиф Давидович, был старый еврей.

Он сам так себя называл с недавнего времени: «Я, – взялся говорить-приговаривать, – старый еврей...» И добавлял что-нибудь вроде: «Меня за мякину не проведёшь!...»

Вот и на этого странного парня Иосиф Давидович сразу же обратил внимание, заприметил его. Так, по крайней мере, он потом своей Свете-рыбке говорил-утверждал:

– Слушай сюда! Помнишь, как я тебе в первый же его приход сказал: «Это довольно интересно!», – помнишь? Меня, старого еврея, на прикиде не проведёшь!..

А прикид парня действительно заведению Иосифа Давидовича соответствовал мало. Да что там мало – совсем не соответствовал! «Золотая рыбка» – один из самых классных и дорогих баров-кафе в Баранове. Сюда заглядывают большие

люди, настоящие *гроссманы*,<sup>4</sup> многие из них даже и подкапывают к самому входу на «мерседесах» да «тойотах» прямо по тротуару – на гибдэдэшников (или как там сейчас этих гаишников обзывают?) плюют-поплёвывают. Вот какие клиенты у Иосифа Давидовича!

А этот...

У него даже сумочки-кошелек не имелось, навроде прежнего дамского ридикюля, в каком каждый уважаемый человек нынче свои повседневные капиталы носит. Да какой там кошелек-сумочка! Одет почти как бомж-бродяга. Мороз ударил градусов под двадцать в этот день – да, да, как раз католическое Рождество было, это Иосиф Давидович хорошо запомнил. Сам он, правда, православный, но именно на 25 декабря такой небывало сильный в эту зиму, запоминающийся мороз придавил, да к тому ж была пятница, канун дня отдыха, – а Иосиф Давидович еврейскую субботу в память предков соблюдал-читил свято. Однажды, правда, нарушил он святую субботу, согрешил, но – дело того стоило: за одну ту субботу Иосиф Давидович сумел-умудрился нужный куш сорвать и жизнь-судьбу свою кардинально поправить. Так что прости, Господь Вседержитель, но как раз грех бы случился-произошёл, если бы Иосиф Давидович тогда свой шанс упустил...

Так вот, мороз приличный, а на парне этом куртчонка на рыбьем меху и чёрная кепочка суконная – такие совсем мо-

---

<sup>4</sup> Гроссман (с нем.) – большой, великий человек.

лодые пацаны, в основном студенты-школьники всякие носят. Полоска у кепочки с боков и сзади, вроде манжета – от-вернул бедолага, прикрыл наполовину уши, а мочки, видно, чуть не отвалились: кинулся их сразу оттирать. А руки-то, руки! Красно-сизые, скрюченные – перчаток-то и в по-мине нет. Шарф, правда, на шее имелся да вполне приличный – цвета масла сливочного, почти белый, пушистый. Вязали, сразу видно, любящие женские ручки. Иосифу Давидовичу такие-подобные шарфы первая жена, Роза-покойница, вяза-ла – последний вот сейчас и донашивает. Может, из-за шар-фа-то Иосиф Давидович и не погнал странного посетителя, а – мог бы, мог. Ну, не погнать, а намекнуть толсто: мол-де-скать, зачем вам, молодой человек, иметь свои неприятно-сти? Вон через дорогу, на Кооперативной, в подвале имеется пивной бар-забегаловка – вот там и пиво для вас есть дешё-вое, и рыба-скумбрия пиву под стать порционными кусками. А здесь, в «Золотой рыбке», самое скромное пиво – 12 рэ за масенькую бутылочку или половина бакса, если на валю-ту-зелень...

Но нет, не сказал, не намекнул Иосиф Давидович и нуке-ру мордатому своему, вышибале-секьюрити подмигивать не стал на странного посетителя. И шарф тут свою роль сыграл, конечно, и, как уже говорилось, нюх-чутьё Иосифа Давидо-вича сработал, да и – вот бывает же! – чем-то глянулся этот странный зачуханный барановский парень старому еврею, несмотря на свою суконную кепочку, простылую куртку-неа-

ляску, позорные брюки с пузырями на коленях и стоптанные сапоги. Возраст, что ли? Да не Иосифа Давидовича – парня. Ему даже кустистая мужицкая борода лет не добавила – тридцать пять всего, не больше. У Иосифа Давидовича сейчас бы старший сын, Веня, примерно таким был – если бы родился тогда, в 1963-м...

Парень вошёл скромно, робко, как показалось Иосифу Давидовичу. Да, вот ещё странность-то: очки на нём тёмные были – он их, отвернувшись, протёр концом шарфика, а уж потом уши растирать-отогревать взялся и публику почтенную оглядывать. Впрочем, публики ещё мало собралось – из шести столиков только два были заняты: за одним католики гуляли-праздновали, всё радовались-обсуждали, как впервые после войны в их костёле отремонтированном рождественская служба прошла-состоялась. Ещё за одним столиком, пожалуй, самые дорогие из дорогих гости сидели-оттягивались: Бай и Боров со своими гёрлами – решили-вздумали осчастливить Иосифа Давидовича, принять его угощение «жидовское».

Это, конечно, Боров – хам, свинья барановская, гой воночий! – позволяет себе, когда нажрётся дармовой водки, «жидом» Иосифа Давидовича обзывать-клеймить. Правда, Иосиф Давидович каждый раз с достоинством одёргивает хама: «Какое глупство! Вы меня вполне обижаете!..» Да разве ж таким бандитам да ещё пьяным повозражаешь? Тут же за наган-пушку хватается, желваками играть начинает... Сви-



ня антисемитская!

Да, вот ещё почему Иосиф Давидович первое посещение того странного парня запомнил-зафиксировал – Бай с Боровом в тот вечер наведались. Они даже и не за *получкой* приходили, а разговор крупный до Иосифа Давидовича имели. А известно, какой разговор у бандитов-рэкетиоров с бедным старым евреем – опять дань повысили. Да ещё и обрадовали чуть не до инфаркта: отныне брать будут только валютой-зеленью – *капустой* по-ихнему. Надоело им, видите ли, терять своё на инфляции. У Иосифа Давидовича даже нога увечная-больная заныла-застонала – он сам порой горько пошучивал: мол-дескать, от горя да от страха душа его в левую пятку убегает и там, в больной ноге, скорбит-плачется. Горько стало Иосифу Давидовичу, а – куда ж деться? Но и так сразу, в единый момент разве ж можно с родными деньгами расстаться?! Успел Иосиф Давидович сообразить, заплакался: мол-дескать, долларов в наличности нет, а тут Новогодье, Рождество, в банках сплошные каникулы... Дали бандюги срок две недели, наугощались в тот вечер всласть, до отрыжки за счёт бедного Иосифа Давидовича. И куда в этого хилого Борова-подсвинка столько дармовой-халявной водки влезает?

Одним словом, огорчённым был в тот вечер Иосиф Давидович. Очень огорчённым. Но виду старался не показывать. Выходил то и дело в зальчик, самолично, хромая к входу, встречал больших гостей, приглашал-улыбался. Парня в ке-

поне, правда, хотя и не погнал сразу, но и приветствовать, конечно, не стал. Тот пробрался-приблизился к стойке, сел на крайний вертящийся стул-табурет, сгорбился ещё больше, кепчонку на коленях пристроил, руку правую к груди приложил, начал кланяться-кивать Свете-рыбке, извиняться, за что-то благодарить:

– Здравствуйте! Извините! С праздником вас! Спасибо!..

Светик хмыкнула, смерила странного гостя взглядом русалочьим:

– Пожалуйста! И вас с праздником! Что пить-есть будем?

Последнее она уже с явной издёвочкой молвила, рукой белой на полки буфетные указала. А там – «Белая лошадь», «Камю», «Мартини», «Бавария»...

– Спасибо, спасибо! – как китайский болванчик закивал-закланялся парень, руку к сердцу заприкладывал. – Извините! Мне, пожалуйста, белый мартини и орешки.

Света-рыбонька на него прищурилась, а посетитель вдруг добавил:

– Извините, только мартини обязательно из холодильника и со льдом, а орешки, пожалуйста, все, какие у вас есть – фисташки там, кешью, миндаль...

– Есть у нас и миндаль, и фисташки, и даже фундук, – ответила Света-рыбка многозначительно, – только, может, *если деньги есть*, вам сначала согреться чем-нибудь крепким? А то ведь от мартини со льдом совсем простынете.

– Спасибо, спасибо! – закивал странный парень. – И,

правда, коньячку мне сто пятьдесят плесните... Извините! Ещё бутерброд дайте, с сёмгой...

Про деньги мимо ушей пропустил, словно не слышал. Светик-рыбонька на Иосифа Давидовича глянула вопросительно, тот, помедлив секунду, головой кивнул: негоже в праздник скандал затевать, да и парень наглецом-халявщиком не смотрится – больно робок. Впрочем, в случае чего и шарф забрать-отобрать можно: шарф у парня стоящий – вещь.

Выпил борода и коньяк заморский, и вермут заокеанский, бутербродом-орешками закусил и ещё кофе-эспрессо заказал-потребовал. А потом счёт попросил – уже взбодрённый, раскрасневшийся, почти не горбится, бороду оглаживает, непроницаемыми очками поблёскивает... Ну, ни дать, ни взять – купчина-богатея погулял-попраздновал. Света-рыбка потюкала маникюрчиком по клавишам кассы, чек на стойку выложила – 164 рубля 50 копеек!

Для какого-нибудь Бая или Борова, конечно, тьфу – восемь баксов-долларов всего лишь, но для этого бедолаги наверняка – половина его зарплаты, если он ещё её получает. Парень склонился, очки на мгновение с глаз сдвинул, глянул, языком поцокал, покопался во внутреннем кармане своей бомжовой куртки, выудил две бумажки сторублёвых – новёхоньких, хрустящих, даже пополам не согнутых – и Свете-рыбке протянул. Та, откровенно не стесняясь, к светильнику у кассы приложила по очереди обе купюры-ассигнации,

изучила, потом каждую согнула, пальчик послунявила и на сгибе прочность краски проверила, хмыкнула-гмыкнула и отсчитала сдачу – три десятки бумажками, а пятёрку и ещё полтинник – металлическими.

И что же делает борода в очках? Берёт одну купюру мятую и в карман прячет-складывает, а остальные двадцать пять с половиной воистину купецким жестом обратно отодвигает – на чай, мол. Потом раз десять – не меньше – свои «спасибо» и «извините» пробормотал, поклонялся и ушёл-исчез. Иосиф Давидович тут же, не медля и самолично, сторублёвки эти две проверил-просмотрел и отдельно от прочих спрятал-положил.

Мало ли чего!

\* \* \*

На следующий день Иосиф Давидович отдыхал-субботничал.

Однако ж ещё с вечера он дал Светлане-рыбке наказ и утром наставление повторил: если парень с бородой появится и опять странно рассчитается – не смешивать его деньги с остальными, доставить целыми и несмятыми домой.

Весь день Иосиф Давидович, как и всегда по субботам, кейфовал на диване, смотрел по видику американские фильмы, пил чай и грыз фисташки. Уж как хотел вечером позвонить-звякнуть в «Золотую рыбку», ублажить любопытство,

но удержал себя, не осквернил субботу. Зато, едва выпустив домой за двойные броневые двери жену-рыбку, тут же, даже не дав ей раздеться, потребовал отчёта. Да, чутьё его не обмануло: бородач объявился снова около восьми вечера, сел за тот же угол стойки, заказал коньяк, маслины, пива две бутылочки с креветками. Был он в этот раз как-то развязнее, что ли, начал знакомиться с барменшей, уверять-хихикать, будто где-то её раньше видел-встречал, взялся комплименты ей отпускать и стихи даже читал. А зовут его Иваном...

– Какое глупство! – прервал Иосиф Давидович раскрасневшуюся супружницу. – Меня совсем не волнует этих глупостей! Ты про деньги говори...

И действительно, уж к кому, к кому, а к этому Ивану в кепке Свету-рыбоньку ревновать даже смешно: для неё бедный мужчина – не мужчина, пусть он хоть Арнольд Шварценеггер, Леонардо Ди Каприо или даже сам Филипп Киркоров. Для мадам Гроссман-два главное достоинство мужика заключалось не в лице, не в бицепсах и даже, пардон, не в штанах, а – в кошельке. Это старый Гроссман преотлично знал, потому и напомнил-поторопил про деньги.

Деньги? Тут и Света-рыбка встрепенулась: да, да, опять вытащил из кармана две сотенных хрустящих бумажки, небрежно бросил на стойку и на этот раз от всей сдачи – в шестнадцать рубчику – барски отказался. Странно всё это...

Очень странно!

И на следующий вечер повторилось то же самое.

И на последующий, и на послепоследующий...

Станный этот Иван приходил, отдыхал-угощался чашик-полтора, расплачивался каждый раз двумя новенькими до неприличия сотенными и, пылко поблагодарив не однажды барменшу, оставлял сдачу на чай.

И вот ещё какая подозрительная странность в этом парне обнаружилась – парик! Ещё в первый же вечер Иосиф Давидович заприметил: странно он как-то уши растирает – не ладонями, а кончиками пальцев. И кепку всегда осторожно, бережно, чересчур уж аккуратно снимает. Пригляделся Иосиф Давидович – ба, паричок! Уж в париках-то он, старый еврей, кой-чего понимал – сам несколько лет носит, с тех пор, как после смерти-кончины первой жены Розы снова женихом себя почувствовал...

Да-а-а, этому странному парню есть что-то скрывать или от кого-то скрываться. И борода у него, видно, свежая, недавняя, а то, может, и тоже фальшивая?..

Наконец, 30-го декабря, в предновогодний вечер, Иосиф Давидович порешил, что с этим раздражающе-таинственным делом надо кончать. Он, как только Иван объявился на пороге и очки свои протёр, подошёл, солидно прихрамывая, к гостю, представился, что как это он и есть хозяин «Золотой

рыбки», а потом внушительно произнёс-предложил:

– Я имею вам сказать пару слов... Прошу вас до себе в компанию!

Парень схватился за сердце, с жаром начал приклинивать-ся, «спасибо-извините» надоедливо частить. В своём кабинете-офисе в глубинах «Рыбки» Иосиф Давидович выставил на стол коньяк, разлил по хрустальным напёрсткам и, когда выпили за первоначальное знакомство, – взялся тянуть кота за хвост: мол-дескать, когда человек богатый, уважаемый, у него и деньги соответственно крупные и новые – прямо из банка... А вот если человек одет скромно, очень скромно, чересчур скромно, то откуда ж у него могут взяться новые крупные деньги?..

– Извините! Вы хотите спросить, уважаемый Иосиф Давидович, – перебил гость, прикладывая руку к груди, – не сам ли я печатаю эти деньги?

А улыбка странная, да и взгляд за тёмными стёклами вроде усмешливый... Или это мнится Иосифу Давидовичу? Однако ж нечего позволять каждому... странному проходимцу над старым уважаемым евреем надсмехаться. Иосиф Давидович построжел, губы поджал.

– Какое глупство! Я не хотел спрашивать, кто их печатает, я хотел спрашивать – почему они такие новые?

– Потому, извините, дорогой Иосиф Давидович, что именно я сам их и печатаю, – спокойно, уже с откровенной усмешечкой ответил гость.

– Вы с ума слетели! – даже привскочил на кресле Иосиф Давидович. – Как можно понять такие слова? Зачем вы такое говорите?! Это же – тюрьма!..

– Да никакой, извините, тюрьмы, Иосиф вы мой Давидович, успокойтесь, пожалуйста, – проговорил уверенно Иван, похлопал по дрожащей горячей руке хозяина «Золотой рыбки» своей холодной рукой и вполголоса, почти шёпотом добавил. – Извините, но смею догадываться, что вы уже проверили мои сотенные в банке – ну, проверили ведь? И убедились, что отличить их от настоящих нельзя. Не-воз-мож-но!

Иосиф Давидович действительно носил первые же четыре подозрительные сторублёвки в «Кредитсоцбанк» к Марку Соломоновичу, попросил проверить на фальшивость потщательнее. Старый друг-товарищ успокоил: деньги настоящие – не обманули Иосифа Давидовича клиенты-алкоголики... Но ведь он, Иосиф Давидович, всем своим нутром старого еврея чуял – дело тут нечисто. И вот, пожалуйста, это довольно интересно: сидит человек в нищем прикиде, с накладными волосами и в шпионских очках, спокойненько глотает коньяк по триста рэ за бутылку и сообщает-уверяет вполне серьёзно, будто он, прости Господь Вседержитель, – фальшивомонетчик.

У Иосифа Давидовича подмышки и лысина под париком обильно вспотели, по увечной ноге зудливые мурашки поползли. А Иван этот перегнулся через стол, голос заговорщицки понизил и сказал почему-то как бы по-одесски:



– Извините! Я имею до вас интерес, Иосиф Давидович, чтобы вы стали моим компаньоном...

## 2

Это наступал его год, Лохова. Год Кролика.

Двенадцать лет назад он в *свой* год женился – и был же счастлив с Аней, девять лет жили во взаимной любви, дружно и ласково. Правда, детей им Бог не дал, ну так не одни они такие на свете, сейчас много бездетных пар...

Да и будь ребёнок, Иван предполагал, катастрофа ещё раньше бы их семью развалила-уничтожила: попробуй сейчас вырастить хоть одного наследника, прокорми-одень его – вывернуться наизнанку надо. А выворачиваться, иначе говоря, – деньги зашибать, Лохов, увы, умел не очень-то. Нет, правду говорят: и фамилия, и имя, и даже отчество определяют судьбу человека. Ну, разве может быть богатым и удачливым индивиду с ФИО Лохов Иван Иванович? Это ж нарочно не придумаешь! Иван ещё с юности, увлекаясь филологией, выяснил подоплёку своей дурацкой фамилии: лох он и есть лох – мужик, крестьянин наивный и лопоухий. Простодушных лохов все кому ни лень общипывают, каждый встречный-поперечный облапошить за свою прямую обязанность считает. Да и вообще лохам в жизни не везёт. Бедный Лохов по себе это преотличнейше знал.

Но он и знал-верил, что бывал и ещё будет, должен быть и на его улице пусть и редкий, но праздник. И связано это, как ни смейся, с астрологией. Да, именно каждый очередной год Кролика, под лопоухой тенью которого удосужило Ивана родиться, уже дважды круто и именно в лучшую – праздничную – сторону менял жизнь-судьбу Лохова. В 1975-м мать его с отцом развелась и перебралась вместе с ним, Ваней, из деревни вот сюда, в большой город, областной центр. Конечно, развод вроде бы дело не очень празднично-весёлое, но отец к тому времени уже совсем пропащим алкашом стал, бил их с матерью смертным боем...

Но даже и не это – освобождение от папаши – главное. Главный праздник в том, что здесь, в городе, Иван начал учиться в большой школе по полной программе, изучать иностранный язык-дойч, встретился с Аллой Семёновной, учительницей русского языка и литературы, которая раскрыла перед ним такой мир, такой необъятный мир... Если б не Алла Семёновна, Иван никогда бы не решился попробовать сочинять стихи, не поступил бы на филфак пединститута, не замахнулся бы на аспирантуру...

Правда, потом наступила-грянула та, первая, катастрофа в 1984-м, *крысином*, году. Умерла мама, скоропостижно, от инфаркта. А вскоре и, что называется, накрылась аспирантура. С аспирантурой, впрочем, может быть, в чём-то и он сам виноват – на рожон полез. Заявил тему выстраданную – «Мелодия патриотизма в современной русской поэзии», но на ка-

федре руководству она чем-то не понравилась, не глянулась. Тогда Лохов новую тему предложил – «Пастернак и Бродский: перекрёстные мотивы в творчестве». Это вообще посчитали демонстрацией, чуть ли не диссидентским бунтом, обсудили недостойное его поведение на комсомольском собрании факультета, объявили строгача с занесением и чуть вообще не вышибли из института, но пожалели, учли отличную учёбу и разрешили-таки сдавать госэкзамен и защищать диплом. Пришлось, разумеется, тему и диплома срочно менять: он собирался по Николаю Рубцову писать, а ему ультимативно предложили – только о ком-нибудь из наших, чернозёмно-барановских поэтов. Какой-то местечковый патриотизм, ей-Богу!..

Ну, ладно, защитился по Баратынскому, в армии год отслужил, в школе начал преподавать русский и литературу. Встретил как-то свою институтскую профессоршу, Ларису Васильевну, она потревожила рану: не надумал ли в аспирантуру всё же поступать? Лохов горько усмехнулся: про Баратынского уже всё писано-переписано, а свой Рубцов в наших барановских палестинах что-то всё не народится, не появится никак...

Так и жил потихоньку: школьникам-акселератам пытался любовь к поэзии привить, получал свою учительскую зарплатишку, сочинял стихи, которые изредка по чайной ложке печатали в «Комсомольском вымпеле», по вечерам сидел дома за книгами, ученическими тетрадками да над чистым ли-

стом бумаги, вздрагивая от пьяных дебошей соседей за стеной. Но это терпимо, главное, что комната своя в коммуналке была-имелась. Правда, порядочную девушку в такое убогое жилище не пригласить. Впрочем, и непорядочных Лохов тоже приглашать не умел. Он вообще в отношениях с женщинами был лох лохом. Он так и собирался жить-тянуть свой век холостяком до гробовой доски.

В одиночестве...

\* \* \*

Но тут подступил-грянул очередной год Кролика – 1987-й.

И жизнь Лохова опять кардинально перевернулась к плюсу. Он встретил Аню и вышла наконец-то первая книжечка его стихов.

Встреча с Аней, как это всегда и бывает, произошла случайно. Пошёл Иван в Рождественский праздник на очередной вернисаж под названием «Художники из подвала» в областную картинную галерею. Уже скрипела-разворачивалась пресловутая перестройка-катастрофка, на волне которой и всплыли из своего подвала эти «подпольные» художники. Лохов терпеть не мог подобные псевдоавангардные штучки-дрючки, особенно в провинциально-чернозёмном исполнении. И действительно, зрелище представилось в основном убогое: винегрет из дурного подражания Кандинскому,

Фальку, Шагалу, позднему Пикассо и чёрт ещё знает кому. Иван уже совсем было пожалел, что в очередной раз обманулся в ожиданиях и только зря потерял время...

Как вдруг он увидел несколько празднично-светлых полотен-окошек в живой настоящий мир: берёзы в яркой шумной зелени... заснеженные ели и сосны... золотые маковки церкви... узнаваемые неожиданной красотой уголки родного города... Причём, как и должно быть при соприкосновении с талантливой – от сердца – живописью, к каждой картине хотелось возвращаться вновь и вновь – и не для того, чтобы разгадывать её как ребус, а чтобы ещё раз всмотреться, удивиться красоте окружающей повседневной действительности, которую в полусне тусклой жизни и замечать перестал; удивиться дару художника, порадоваться за него. И – за себя, что встретил такого мастера, почувствовать-ощутить праздничное настроение в себе...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.